

АРСЕН ТИТОВ

Урал- БАТЮШКА



Екатеринбург Восемнадцатый

Урал-батюшка

Арсен ТИТОВ

**Екатеринбург
Восемнадцатый (сборник)**

«ВЕЧЕ»

2019

Титов А.

Екатеринбург Восемнадцатый (сборник) / А. Титов — «ВЕЧЕ»,
2019 — (Урал-батюшка)

ISBN 978-5-4484-7913-7

Книга историко-художественной прозы лауреата премии «Ясная Поляна» Арсена Титова посвящена как давним, так и сравнительно близким по времени к нам событиям, происходившим на Урале. События романа «Екатеринбург Восемнадцатый» разворачиваются в 1918 году в Екатеринбурге, куда с Персидского фронта Первой мировой войны возвращается главный герой. Гражданской войне посвящена и небольшая повесть «Степашины кони». А повести «Сентябрь» и «Товарищ Че и Боженька» – это дыхание еще очень близких нам по времени и незаживающей боли Афганистана и Чечни. Это истории о ветеранах, кто, по словам критиков, писавших об этих повестях, «знал, что делать на войне, а теперь с трудом пытается понять нашу сегодняшнюю такую непростую и не очень-то мирную жизнь».

ISBN 978-5-4484-7913-7

© Титов А., 2019

© ВЕЧЕ, 2019

Содержание

Екатеринбург Восемнадцатый	6
1	6
2	10
3	17
4	26
5	35
6	44
7	53
8	62
9	68
Конец ознакомительного фрагмента.	76

Арсен Титов

Екатеринбург Восемнадцатый

© Российское военно-историческое общество, 2019

© ООО «Издательство „Вече“», 2019

© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия, 2019

Екатеринбург Восемнадцатый

1

Верстах в восьмидесяти от Екатеринбурга на разъезде Марамзино сотник Томлин сказал:

– А я здесь, напрямки!

Он коротко с нами обнялся, схватил сидор и выскочил из вагона.

– Какие прямки! – крикнул я.

– Да вот так, верст двенадцать! – ткнул он культией рукой в северную сторону.

– А сугробы! А волки! – закричал я.

– Да нам, пластунам!.. – отмахнулся он.

День вытянулся за середину. Низкое солнце било прямо с юга. Вагоны давали трапеции тени и густо красили снег синькой. Сотник Томлин вязко, но бодро вышел на санную дорогу, желтовато отмеченную соломой и конским навозом, изрядно накатанную и отблескивающую. За ним от вагонов потянулись несколько мужиков в нагольных полушубках и баб в громоздких, завязанных сзади шالях. Два наших брата, серых скотинки-фронтовика, вывалившиеся из соседнего вагона, обмахнули окрестность жадным, как бы обнимающим поворотом на три стороны, перекрестились, повернулись в четвертую сторону, на вагон, снова перекрестились и поклонились. Было видно, что из вагона им что-то кричали. Они ответили и мелко, задом, как от родной избы, стали от вагона отступать к дороге.

– Ишь ты! Смотри, Борис Алексеевич! – как бы в удивлении коротко дернул головой наш спутник от самого Оренбурга и тезка сотника Томлина солдат Григорий Бурков.

– Дома! – сказал я.

– А вроде как страх им от вагона отлепиться! – снова дернул головой Бурков.

– Здесь свои, а там, Бог знает! – сказал я.

– Пожалуй! – кивнул Бурков.

Было двадцатое января тысяча девятьсот восемнадцатого года. Завершался мой путь из Персии домой.

Я и сотник Томлин оказались в этой экзотической и мятежной стране два года назад по выходе из Горийского госпиталя. Я получил назначение в Первую Кавказскую казачью дивизию, прекрасно себя зарекомендовавшую в летних боях пятнадцатого года под Агри-Дагом. Ее удар во фланг прорвавшемуся турецкому корпусу решил исход операции на всей левой половине двухтысячеверстного Кавказского фронта. Сотник Томлин был уволен со службы по инвалидности, как обычно формулируется в таких случаях, в первобытное состояние и с копеечной пенсией. Полагая, что мне после госпиталя дадут батарею, я уговорил его остаться со мной – ибо третий офицер-казак в батарее не только сгодился бы, но и своей пользой потом, по изучении нашего примера, споспешествовал бы внесению изменений в артиллерийский устав, непременно введению в штате батареи казачьего офицера с должностной характеристикой «тертый». Однако мне вышло назначением в указанную казачью дивизию, артиллерийской батареи не предусматривающую. Недоумение столь странного назначения рассеялось чуть позже. И причиной тому послужила именно Персия.

С давних пор она оказалась предметом борьбы между нами, Российской империей, и Великобританией, столь сердечно переживающей наши успехи, что ни одного из них нам не прощающей. В конце концов, был установлен паритет – север страны подпадал под влияние России, юг оказывался в сфере интересов Великобритании. Сколько я могу знать, паритет более соблюдался с нашей стороны, чем с британской, но все-таки соблюдался, и Персия, говоря словами Михаила Юрьевича Лермонтова, «цвела в тени своих садов, за гранью друже-

ских штыков не опасаясь врагов». А если не цвела, то исключительно по причине собственного управления и отношения правителей к своим подданным.

Иное случилось перед Великой, то есть нашей, войной и особенно с началом войны. Германия и Турция взялись перетягивать Персию на свою сторону. И это у них при абсолютной слабости центральной персидской власти довольно ловко стало получаться. Они не только возбудили персидское население в свою пользу. Они против нас и британцев возбудили соседний Афганистан. Не трудно представить наше положение на Кавказе и в Туркестане, если бы открылся антирусский афгано-персидский фронт. Тогда-то и было государем-императором принято решение ввести в Персию наши войска. За неимением большего, едва был выделен только кавалерийский, а по сути, конный, то есть состоящий из разнородных частей, корпус, в котором преобладали казачьи полки. Корпусу в качестве пехоты были приданы незначительные пограничные части и две казачьи батареи. Я получил в этом корпусе должность инспектора артиллерии – по новой моде соединения сокращенных слов в одно слово, практически всегда ошарашивающее своим благозвучием, то есть я получил должность инаркора. Введены мы были в октябре пятнадцатого года и последующие два года провели в непрерывных боях и рейдах, порой отрываясь от своего тыла на полторы-две тысячи километров. И пока мы там были, Персия была в русле антитурецкой и антигерманской политики. С приходом к власти в России революционной сволочи меня за отказ с этой сволочью сотрудничать уволили со службы. В России, говорят, таких просто расстреливали или кололи штыками. Но нас от России отделяла тьма расстояния и отсутствие полной картины событий в России. К тому же казачьи части были меньше подвержены революционной грязи. Меня просто уволили. Мои товарищи оставались держать фронт, а я направлялся в Россию, полностью накрытую революционной тьмой и грязью, где должен был быть, по мнению корпусного ревкома, непременно расстрелян. Страдая за корпус, но не имея власти поступить поперек революции, наш командующий Эрнст Фердинандович Раддац, герой Ардагана, поручил мне вывести часть артиллерийского вооружения и имущества в Россию. Мне вместе с группой молодых офицеров, как я же, не принявших революционную тьму и грязь, удалось с нашей базы в Казвине прихватить шесть орудий разного калибра. Нас объявили по всей дороге до порта Энзели вне революционного закона. Но одно дело было прокричать в телефон всем дорожным постам и всем революционным частям нас разоружить и расстрелять. И другое дело было это исполнить. И каждый дорожный пост при нашем приближении прятался, а каждая высланная нам навстречу революционная часть при нашем приближении немела и катилась назад. На сутки мы остановились в Менджи́ле, где комендантом поста оказался мой старый знакомый инженер-мостостроитель Владимир Леонтьевич, призванный на военную службу. Нужно было дать отдых людям и особенно лошадям. Нужно было похоронить Анечку Языкову, жену подпоручика Языкова, умершую при родах, а потом и их младенчика, не стерпевшего нашего мира и полетевшего за матерью, ни разу его не приласкавшей, ни разу не покормившей. Я написал телеграмму по всем станциям до Энзели. Я предупредил, что мне и моим товарищам терять было нечего. Я написал: «Я и мои товарищи спасают часть российского военного имущества для России. Всякого препятствующего мы рассматриваем как врага России, будь то Россия революционная, будь то Россия прежняя. Я и мои товарищи просим внять голосу совести и разума и не довести дело до кровопролития, дать нам провести часть российского военного имущества в Россию». Владимир Леонтьевич упросил меня такого телеграфа не давать, и сам весь день увещевал в телефон всевозможные инстанции, что он захвачен, но с ним и его людьми обращаются хорошо, что не следует предпринимать никаких мер к его освобождению, ибо всякая мера чревата.

– Уйдут они своей дорогой, уйдут, товарищ!.. – кричал он каждый раз в телефон. – Уйдут! И айда с Богом! И пропускайте их прямо к пароходам! Что вам до них-то! У них-то шесть пушек! Да они-то весь ваш рейд разнесут! У них же приказ, а у вас что? У вас-то одна резолюция какого-то товарища Блюмкина! Что? Товарища Шахназарова? Так что с того, что товарища

Шахназарова! Он сегодня есть, а завтра его нет! Завтра будет другой товарищ предревкома! А рейд разнесут! А порт сожгут! Отправьте их, да и дело с концом! Что? У кого фальшивый мандат? У этого, у их командира подполковника Норина? Ах он негодяй! Но не препятствуйте! Не препятствуйте! Дайте им пароход! Что? Требуется отобрать у него мандат? Нет уж, господа хорошие! Это-то уж я предоставлю вам этакое удовольствие!

Так кричал в телефон Владимир Леонтьевич все сутки напролет и оглядывался от телефона на меня, лукаво блеснул пенсне, а потом, на минуту положив трубку телефона, говорил:

– Да уладится! Пройдете без помех до самого Энзели, до пароходов! У них революция, и им за просто так помирать-то неохота! Им всем домой охота! А что же у вас, батюшка вы мой, действительно мандат? Что же они в таком случае взьелись-то?

Мандат у меня действительно был. Я, сам от себя не ожидая таких способностей, выловил его в Казвине. И Казвин теперь по всей линии требовал отобрать его. И, как предусмотрительно отметил Владимир Леонтьевич, верно, каждый стремился эту почетную миссию передать другому.

Ушли мы от любезного Владимира Леонтьевича в ночь. И до сих пор я не могу вспомнить, как это случилось, что я очнулся только на каком-то километре Туркестанской железной дороги от стука случайно оброненного в вагоне котелка.

Началось, по всей вероятности, гораздо раньше Менджиля. Но едва мы от него вышли, меня схватила такая усталость, что я просто бы лег где-то в стороне и растворился. Я даже помечтал о какой-нибудь ямке, этакой неглубокой и продолговатой, до невозможности в моей усталости уютной. «То-то в могиле-то хорошо!» – помечтал я. Было стыдно так мечтать и оставлять положенное мне по уставу место на марше батареи. А я стал оставлять. В первый раз я не преодолел себя и придумал подождать то место, которое на марше отводится команде разведчиков, потом отстал к воображаемому месту команды телефонистов, потом якобы нашел интерес в первом огневом взводе, потом отстал еще и, наконец, свалился, когда задушевно поговорил с батарейным ящиком, при котором, по уставу, положено быть батарейному вахмистру, то есть в самом конце батареи. В каком-то удовлетворении от разговора с местом, где должен быть батарейный ящик, я решил прилечь у дороги и пережить этот, как мне показалось, чрезвычайно тонкий и умный разговор. Я уже не представлял, что мы вышли из Менджиля, что мы выходим из Персии, что мы, то есть я, вообще где-то, в каком-то определенном пространстве. Мне стало уютно в самом себе. Я, удовлетворенный этим уютом, еще смог сообразить, что лечь и снова пережить разговор с местом батарейного ящика лучше не на дороге, а в стороне от дороги. Я сошел и лег в уютную, именно неглубокую и продолговатую ямку. Но сошел и лег я в нее только в моем воображении. Лег я прямо где был. И за меня в темноте счастливо загнулся подпоручик Смирнов, шедший арьергардным дозором вместе с подпоручиком Языковым. Было, что я при этом очнулся и спросил: «Что Ксеничка Ивановна Галактионова?» – видно, столько мне было стыдно за отсутствие у меня к ней чувства. – «Все с ними хорошо!» – сказал подпоручик Смирнов. – «Так ведь они в наших бельских лугах!..» – еще сказал я и еще хотел сказать, что мне неудобно от того, что помешали пережить разговор с местом батарейного ящика. И уж потом я услышал стук упавшего как бы с орудийного лафета котелка – на марше орудия обычно становятся похожими на своеобразные новогодние елки, так их обвешивают батарейцы своей амуницией.

А вышло, что котелок выпал из рук казака-сибирца в вагоне для больных шедшего эшелонами того самого Девятого сибирского казачьего полка, с которым прошлой зимой мы рвались на Багдад. И все остальное после слов подпоручику Смирнову о Ксеничке Ивановне в бельских лугах я узнал от сотника Томлина.

В Энзели, порту на южном побережье Каспия, была сплошная революция. Какими-то трудами удалось наши шесть орудий погрузить на пароход в Порт-Петровск, куда должны были отбыть и все мы. Что было делать дальше, никто не знал. Никто нас, тем более меня, тифоз-

ного, нигде, ни в каком Порте-Петровске, не ждал. Но все уже не думали о том, что будет завтра. Революция навела свой порядок, свой смысл, по которым приходилось думать только о сегодня. И в отношении меня смысл революции вышел во встрече сотника Томлина с казаками-сибирцами. Они захватили пароходы и как раз грузились. Командир полка Петр Степанович Михайлов, сменивший Владимира Егоровича Первушина еще летом, тотчас велел забрать всех нас с собой и даже велел взять нашу батарею. Однако пароход с батареей ушел без предупреждения. В порту остались отлучившиеся с парохода подпоручики Смирнов и Языков. И в порту остались наши барышни Ксеничка Ивановна и Татьяна Михайловна, так самоотверженно пошедшие искать нас в Персии. Со слов сотника Томлина, Ксеничка Ивановна, вероятно, от меня заразилась. Она лежала у кого-то из оставшихся русских обывателей. Татьяна Михайловна осталась с ней.

В третий раз моя заступница Богоматерь уводила меня от войны вот таким странным образом, через болезнь или ранение. Если бы я был мистиком, наверно, я бы стал думать о том, что четвертого раза не будет.

Вот так случилось со всеми нами. Не вышло мне сказать что-то сердечное Ксеничке Ивановне, хоть на сколько-то утишить ее боль любящего, но не любимого сердца. В этом отношении она разделила участь лейтенанта Дэвида, безнадежно любящего мою Элспет. Не вышло у меня поблагодарить за службу, за верность присяге и самопожертвование ради России моих новых товарищей.

2

Петр Степанович Михайлов, а вернее, весь славный Девятый сибирский казачий полк считал пробиваться домой, в свои сибирские степи, через Туркестан. Как и вся Россия, Туркестанский край не представлял собой тихого угла. Но он сибирцам был едва не домом родным по их службе в этом краю. Столица его город Ташкент много лет был штаб-квартирой Первого сибирского Ермака Тимофеевича полка, и вообще все три первоочередные сибирские полка несли службу в этом краю, собственно же, отвоевав его для империи и даже продемонстрировав нашей доброй старой подруге Англии возможность нашего появления в пределах Индии. Не надо забывать, что наша добрая старая подруга всегда всецело была на стороне любого, кто что-либо затевал против нас, и в те годы жаждала как раз со стороны Индии прихватить и всю Центральную Азию, то есть Туркестан.

А тихого угла он собой не представлял по причине прошлогоднего кровавого мятежа или той же революции местного туземного населения против всего русского. За своей толстой кошмой, отделявшей нас в Персии от всего происходящего в России, мы об этой стороне жизни у нас дома не знали. Зачинщики мятежа, то есть революционные вожаки, провозгласили священную войну всех мусульман против иноверцев, разумея под иноверцами только русское православное население. Вся их священная война – это обычно резня мирных безоружных жителей, но ни в коем случае не открытые боевые действия армии против армии. Исключением вышел разве что период войны Шамиля с нами. И здесь, в Туркестане, тоже вся священная война вылилась лишь в дикие насилия и надругательства над матерями, женами, сестрами, детьми и стариками русских мужиков и казаков, ушедших на фронт. Якобы причиной мятежа стал слух о призыве на военную службу и на обеспечение тыловых работ армии местного туземного населения с насильственным обращением его в православие. Известно, что оно, туземное население, во все время российского подданства от всяких обязательств по отношению к империи, кроме налога, было освобождено. Причиной якобы стало и кризисное положение с продовольствием в крае, хотя таковое оно складывалось едва не по всей империи. Возможно, это действительно стало причиной. Но при чем же мирное население? Есть в окружающих империю народах что-то темное, что-то из того ряда, который сотник Томлин определил словами о признании ими только грубой физической силы. Кроме того, я просто уверен, что не обошлось без определенной работы агентов нашей доброй подруги и, само собой, агентов из числа военнопленных немцев и австрийцев. Одним словом, туземцы возмутились. Возмущение быстро переросло в вооруженный мятеж против русских. Власти, как это бывает в тылу, тотчас показали полную свою несостоятельность. Право, или я одичал за войну, или во мне таились до поры врожденные, сродни революционным, наклонности, но я бы за эту несостоятельность ответственных предал военно-полевому суду. Но им, как всегда, сошло. Их отозвали. В край ввели воинский контингент и направили очень уважаемого туземцами бывшего некогда правителем этого края генерала Куропаткина Алексея Николаевича, тезку моего батюшки. Он взялся ново-старых своих подданных увещевать. И того ему было успеха, что военный контингент не стал с мятежниками церемониться, а дал им тою мерой, какой отличались они. Сибирцы говорили, что особенно решителен в действиях был отозванный с фронта командир Второго Сибирского казачьего полка полковник Иванов. Край был замирен. Однако пособники революции из государственной Думы, чтобы скомпрометировать правительство и государя-императора, обвинили полковника Иванова в жестокости, совсем не обращая внимания на то, что его жестокость была лишь ответом, и без нее никакой Алексей Николаевич Куропаткин со всем своим авторитетом ничего бы не сделал.

А нынешним летом, говорят, в краю случилась засуха, и на край обрушился голод. И опять никто ничего не хотел делать во исправление положения. Все стали искать только

корысть и устремились на этих обстоятельствах нажиться. Надо было мне самому оказаться в тылу нашего корпуса, чтобы убедиться, как все расстроено, как все в упадке, как все проникнуто одним сплошным безобразием. А ведь тыл корпуса – это ближний тыл. И я еще весной позапрошлого пятнадцатого года отмечал эту особенность тыла быть тем безобразней, чем он дальше находился от фронта. И здесь не нашлось ни силы, ни желания, ни совести обеспечить край даже теми малыми крохами продовольствия, которые были закуплены в Оренбургской области и в Кавказском крае. Его просто в Туркестан не поставили, или разворовав на месте, или разворовав по дороге. Голод нынешнего лета в Туркестане достиг такого размера, что, говорят, фунт хлеба в Ташкенте в цене доходил до ста рублей. Хотя, может быть, это опять был только слух, только та же священная война, потому что сто рублей за фунт – это просто невозможно, и взявшийся установить такую цену продавец был бы на месте растерзан.

Но голод все-таки воцарился. А голод – это отец. Мятеж и бунт – его сыновья. А внучка – уже революция. Погромы, грабежи, так называемые реквизиции, то есть те же погромы и грабежи, только уже от имени революции, стали обыденностью. Властей в крае было две – туземная для туземцев, и русская для русских. Революция туземную власть оставила, а русскую видоизменила, посадив вместо того же Алексея Николаевича Куропаткина, как царского сатрапа, каких-то своих Вичкиных, Бричкиных, Опричкиных, назвав их временными. Такое положение не удовлетворило корысти еще более революционных, чем у этой временной власти, устремлений, и появилась третья власть со своими Вичкиными, Бричкиными, Опричкиными. Эти последние, совершенно уголовная сволочь, назвавшаяся большевиками, стали задавать тон. К ним не замедлили присоединиться так называемые интернационалисты, то есть германские и австрийские военнопленные, которых в крае было до сорока тысяч. Видя эту силу, к ним же присоединились два Сибирских запасных стрелковых полка. Некоторое время все три власти как-то более-менее между собой ладили. Они бузили, громили обывателя, арестовывали друг друга, сменяли своих верховодов, но все это обходилось без крови, по крайней мере, без большой крови.

Большую кровь большевики пустили в конце октября после захвата власти большевиками в Петрограде и, говорят, пустили ее не без содействия второй, временной, власти. В то время как большевики в союзе с немецкими и австрийскими пленными, которых при таких обстоятельствах назвать пленными уже не выходило, не останавливались ни перед чем, краевой правитель комиссар Коровиченко, какой-то присяжный поверенный до войны, ничего им не противопоставлял, наверно, полагая, что по старинке усюстит их какой-нибудь замысловатой речью. До речей дело не дошло. Власть взял поручик одного из сибирских запасных полков некто Перфильев, в свое время исключенный из полка судом чести за воровство. Его подручными стали провокатор Одесской охранки Цвиллинг и некто бывший секретарь Ташкентского сиротского суда, укравший у сирот крупную сумму. Они образовали совет народных комиссаров и тотчас отправили Коровиченко и всех его приспешников в тюрьму.

Подобная картина для России была повсеместной. Потому Девятый сибирский казачий полк рассчитал правильно – пробиться на Оренбург через Туркестан, гарантировав себя сохраненными в полку дисциплиной и оружием. Полк сразу был объявлен контрреволюционным. О нем сразу же было сообщено по всей железной дороге с требованием разоружить. Но что вышло у революции, так только пропускать полк не всем составом, а посотенно, то есть эшелон с каждой сотней выпускать со станции самое малое через сутки после ухода предыдущей сотни. И полк тащился таким образом, что первая сотня полка подходила к Самарканду, а шестая в это время шарашилась по запасным путям в Асхабаде.

В Самарканде нас загнали в специально для того оборудованный тупик с поставленными на крышах пакгаузов с двух сторон пулеметами. Некто местная сволочь комиссар, обвешанный наганами, бомбами и патронными лентами, в сопровождении таких же своих сволочей вышел к эшелону и потребовал на переговоры революционный комитет полка. Всему научен-

ные самой же революцией, сибирцы заранее выбрали этот свой революционный комитет из людей доверенных и по характеру таких, которые могли про себя сказать словами присказки моей нянюшки: «Мамонька! Пожалей меня бедную! Я сегодня только семерых собак перелаяла!» Это были казаки Усачев и Красноперов. Фамилию третьего казака-комитетчика я забыл.

На этот раз перелять самаркандских сволочей не вышло. Едва наши ревкомовцы явились к местному ревкому в здание вокзала, как были арестованы и объявлены заложниками, которые будут расстреляны, если эшелон в течение часа не сдаст оружие и не выдаст офицеров. Для убедительности сволочь комиссар распорядился дать длинную пулеметную очередь поверх вагонов. Это должно было означать последующую стрельбу по вагонам. Сибирцам ничего не оставалось делать, как согласиться на сдачу оружия. Но офицеров выдавать они не стали, переложили их в шинели рядовых казаков, а самого командира полка Петра Степановича Михайлова вообще объявили тифозным и хладнокровно на виду у комиссарской сволочи перенесли в лазаретный вагон.

– Нету у нас никаких офицеров! Они на Баку наши полковые гроши пропивают! – сказали сибирцы.

К моему удивлению, отличным артистом оказался сотник Томлин. Он придумал поместить Петра Степановича в лазаретный вагон, изобразил из себя фельдшера и руководил переноской, громко ругаясь, что тифозная бацилла носится, где хочет, что стенки лазаретного вагона ей не Кашгарская граница, и она за секунду может перескочить на станцию. С этими словами он пошел к комиссарской своре с просьбой огонька на сигарку. Ни подойти, ни огонька ему свора не дала, а замахала оружием и закричала поворачивать.

– Казачья сволочь! – сказала свора сотнику Томлину.

Вообще все в России стали вдруг сволочью. Они стали сволочью называть нас. Мы так стали называть их. Я не знаю, почему они не разнообразили свою речь и не искали какие-нибудь другие эпитеты. А мы иных не знали. Подлее этого слова мы не знали и не находили равным ему, если даже вдруг слышали. Всякое слово против этого нам казалось легковесным и даже смягчающим их подлость.

Догадался о нашем спектакле сволочь комиссар или не догадался, сказать трудно. Вернее, так он убоился усугубить обстановку и удовлетворился сдачей стрелкового оружия. Шашки казаки сдать отказались, сказав, что это личное имущество, и их сдача будет обыкновенным грабежом. Кое-кто из особо дошлых сумели сохранить и винтовки.

Я был в лазаретном вагоне и всего, о чем говорю, не наблюдал. А сказал мне об этом Петр Михайлович, потом прибавил сотник Томлин. На мой характер, так я бы захватил станцию вместе с их революционным комитетом, этих сволочей комиссаров взял бы заложниками и покатил бы дальше. Уверен, пулеметы промолчали бы, как говорится, в тряпочку. А то бы следовало прихватить и их. Не мне казаков судить, но в казаках что-то сломилось. Вероятно, жажда попасть домой лишила их воли.

Вот так все вышло.

В виду таких дел, я почел за благо изыскать в себе моральные силы и поднялся с постели, то есть с голого топчана с моим сидором в изголовье. С померкшим в глазах светом и на отказывающихся ногах я по стенке добрался до свежего воздуха. Я остановился перед ним, почуяв резкую грань свежей его пустоты против воздуха вагонного. Я даже испугался упасть в него, как в некую бездну. Я осторожными рывками подергал свежесть в себя, жутко закашлял от щекотки. С наступившими слезами я прозрел, увидел, что воздух оранжев, праздничен, и отменно черными крючками в этой праздничной оранжевости торчал комиссар со своими приспешниками.

– Еще одна казачья сволочь! – услышал я о себе.

И тотчас я услышал голос сотника Томлина.

– Тебя куда, задрыку, черт понес! Вша тифозного между товарищами поделить захотел! А ну обратно сдай! – закричал на меня сотник Томлин, будто на рядового казака. Я, как в гущу

выгребной ямы, отодвинулся в вагон. – Ты что, Лексеич! Да ты думай маленько! Да твое барье личико за семь верст без стереотрубы любая бляха разглядит! – гусем зашипел он в вагоне.

Остаться в лазаретном вагоне я больше не захотел. Эшелон тронулся. И сотник Томлин проводил меня к себе в вагон с полковым имуществом, где он делил место с офицерами штаба полка и первой сотни. Они, несуразно и не в размер одетые в шинели нижних чинов угрюмо молчали. Следом за нами в вагон вошли трое – новый комиссар и два охранника.

– Ладно, ладно, мазурики! – поднял комиссар руку, то ли таким образом здороваясь, то ли желая усмирить в его представлении возникшую среди нас с его появлением тревогу. – Я, то есть мы, ревком, знаем, что вы все тут офицеры! Потому езжайте смело. А я и вот они, мои товарищи, для пушей безопасности, проводим вас до Ташкента!

Они сели возле дверей, в сознании своей значимости пристально оглядели нас.

– Да нет! Все офицеры! – в удовлетворении отметил комиссар, закрутил сигарку и сказал: – Все офицеры. И я сейчас вам сделаю революционную пропаганду!

– Ты бы, дядя, оставил нас в покое! Нам ведь до наших сибирских станиц шлепать ой-ё-ёй сколько! Не до тебя нам, дядя! – сказал наш ревком Усачев.

– Сибирские казачки, значит! Не вы ли гуляли тут в прошлом году? – в прежнем удовлетворении спросил комиссар.

– Мы-то погуляли, да не тут с вами, а под турецкими шрапнелями да в казачьих лавах. Тут-то вы погуляли! – сказал второй наш ревком Красноперов.

Комиссар игриво ткнул в бок соседа-охранника, надо полагать, из военнопленных.

– А, Август, каково! Все офицеры! – весело сказал он.

Сосед-охранник, вероятно, из военнопленных, промолчал. Я подумал про комиссара: «Сейчас преобразится!» – И точно. Комиссар посуровел, выпрямился в спине, еще раз прошелся недобрый взглядом по нам, чему-то коротко усмехнулся, как бы соглашаясь с самим собой, хлопнул ладонью по колену.

– А вот если так, господа офицеры! – с вызовом сказал он. И стал дальше говорить, свою, как он выразился, революционную пропаганду. – Что же вы думаете, что восстали только местные киргизы и восстали только по той самой причине, какую сказали вам? – спросил он и сам, как следует оратору, ответил: – Нет, господа офицеры! Я комиссар Брадис. Я был участником этих событий. Я давал показания прокурору. Я прямо сказал, что их потуги свалить все на киргизов – брехня и трусость. Восстание было спровоцировано самими властями, царскими сатрапами, для уничтожения человеческого туземного материала и тем очистить земли для новых русских колонизаций. Русский крестьянин пошел в революцию. И чтобы заткнуть ему плотку, оттянуть его от революции путем соблазна новых земель – вот для чего было задумано. Этот приемчик мы, большевики, знаем из истории колонизаторской политики империалистических держав, военным лицом которых являетесь вы! – комиссар Брадис усмехнулся. – Вы говорите, что вы сибиряки! А вы тут пятьдесят лет угнетаете бесправное туземное население. И мы знаем, как это систематическое угнетение в известный момент превращается в политику физического уничтожения трудящихся угнетенных народов!

– Ты, дядя, человеческим языком нам скажи, что ты задумал! – не выдержал ревком Усачев.

– Что я задумал? – спросил комиссар Брадис и вдруг пристально посмотрел на меня в полном соответствии со словами сотника Томлина о моем, за семь верст выделявшемся – только непонятно, чем – «барьем личике». – Что я задумал? – повторил комиссар Брадис. – Именно я ничего не задумал. Мне вас до Ташкента проводить, чтобы чего по дороге не было. А вот наша революция ставит вопрос. И этот вопрос заслуживает вашего внимания, потому что он ставится против вас. Довольно. Поколонизаторствовали. Теперь угнетенные народы подковыаются высоким революционным сознанием против вас, русских, во всемирном масштабе!

– А ты, дядя, не хлебнул ли для храбрости? Что-то ты не по тракту, а какими-то обочинками понесся! – опять сказал ревком Усачев.

– Хе-хе! Обочинками-то вы поскачите! Под нашим революционным взором и нашими беспощадными дулами! – сказал комиссар Брадис.

Революционная пропаганда продолжалась бы, думаю, бесконечно, кабы не выводка лошадей на одной из больших остановок. Лошадей в сотне была половина состава. Казаки на службу по закону должны отправляться со своим конем. И если конь будет убит или падет, казак получает казенного коня, которого по окончании службы обязан сдать казне. В условиях революционного порядка коней сдавать было не только бессмысленно, но и невозможно. Потому их продали еще в Энзели за самый пшик в цене. Раз в два дня на длительных остановках эшелона лошадей выводили размять и почистить. Это-то вот мероприятие заставило комиссара Брадиса сделать в своей пропаганде перерыв. За время стоянки в вагон вернули командира полка Петра Степановича. В продолжение игры с болезнью, его уложили в самый угол, а рядом уложили меня, от слабости сил занемогшего сидеть.

– Они что, тифаковые? – в тревоге спросил комиссар Брадис.

– А шайтан их знает. Может, тиф, а может, сибирка! – сказал ревком Усачев.

– Выясню! – коротко пригрозил комиссар Брадис.

– Ты лучше выясни, по какого за наши денежки коням поставляют недробленый ячмень! – зло бросил ревком Усачев.

– Можем вообще ничего не давать! – опять коротко бросил комиссар Брадис.

– Да ты, морда, не знаешь, что ли, что от такого корма у коней колики! – едва не хватил кулаком комиссара Брадиса ревком Усачев.

Комиссар Брадис полез за наганом, но увидев, как плотно на него двинулся весь вагон, сдал к двери. Кто-то из казаков закрыл ему дорогу и схватил сзади за руки. Миг, и комиссара бы не стало.

– Казаки! Смирно! Отставить! – откинул шинель Петр Степанович.

Сколько ни испугался комиссар Брадис, но революционный характер выдержал, ехал с нами до Ташкента, только, кажется, в видах самообороны от тифа и сибирки не открывал рот.

– Вы, кажется, выдали себя! В Ташкенте этот мазурик выдаст нас своему ревкому! – сказал я Петру Степановичу.

– Да не дадут казаки! У нас же офицеры, в отличие от других казачьих войск, остаются в строю, как говорится, доколе остаются в силах. Они не помещики и не буржуи! Они всегда с казаком наравне во всех тяготах службы! – сказал Петр Степанович.

Но, как я и предполагал, в Ташкенте комиссар Брадис действительно привел в вагон местный ревком.

– Вот этот! – указал он на меня.

Ревком меня взял со всех сторон наганами.

– Я его сразу узнал! – как-то заученно, видимо, не в первый раз стал говорить ревкому комиссар Брадис. – Я его помню еще по Вильне. Самая исключительная для революции сволочь, офицер после Виленского кавалерийского!

И никакие протесты казаков, никакие мои объяснения, что комиссар Брадис глубоко ошибается, не возымели действия.

– Если и ошибается, то все равно не ошибается! Классовое чутье не подводит! – сказал местный ревком.

– Что, и Изу Салмонович не знаешь? Отрекаешься? А не из-за тебя ли она в православие перешла? Что? И этого не помнишь? А там меня едва не по морде таскал, пархатым называл! И дружок твой Степанов где? В папашкином Веркяйском имении укрывся? Достанем! Я специально в Петрограде мандат в Вильну выхлопочу. Я вас всех достану! – в бешенстве стал кричать комиссар Брадис.

Меня и брата Сашу опять спутали. Не были мы особо похожи друг на друга. Но что-то типически породное заставляло людей принимать одного из нас за другого. Брат Саша, а не я закончил Виленское кавалерийское. У брата Саши, а не у меня был друг Степанов. И вся история с неизвестной мне Изой произошла у брата Саши, а не у меня. Эту историю, совсем кратко и неясно, я знал со слов старого казака-бутаковца Самойлы Васильевича, пересказанную мне в день, вернее, в ночь гибели Саши, в ночь перед боем на Олту зимы четырнадцатого года. Из истории выходило, что брат Саша любил эту неизвестную мне Изу – и только. Ни о каком Брадисе – кто он там был, и как мог Саша с ним столкнуться – я до сей минуты не знал. Ни Саши, ни этой Изы уже не было в живых.

Еще в Энзели меня хотели было записать в рядовые казаки. Но сотник Томлин по случаю у меня, как он выразился, барьей рожи придумал записать учителем гимназии, произведенным в прапорщики. И если бы я был в памяти, он бы еще присоветовал что-нибудь навроде того, чтобы я прикинулся немного тронутым от контузии. «Дурака не тронут. Если, конечно, сами они не дураки, эти нынешние. А то дурак дурака еще хуже понимает, чем дурака – умный» – примерно так бы сказал он. И едва ли не весь вагон увещевал комиссара Брадиса, что я учитель, что отродясь никакой Вильны не видывал, разве только в книгах о белом свете Элизе Реклю. Все было напрасно.

Все было напрасно. Ревком поверил Брадису. Я оказался в тюрьме. Правда, сидеть мне там пришлось недолго. Разбирая мои вещи с целью упрятать наиболее ценные, то есть мои ордена и погоны, сотник Томлин нашел справку, выданную мне товарищем председателя ревкома нашего корпуса Стаховским. По этой справке, я оказал корпусному ревкому определенные революционные услуги. Помог и солдатский Георгий, врученный мне по увольнении из корпуса. Но самое главное, что поспособствовало, так это спешное отбытие куда-то из Ташкента комиссара Брадиса. О нем в ревкоме отозвались очень недобро.

– Этот еще и не так мог бы с тобой поступить, товарищ! Он при режиме был в присяжных в Вильне, а потом приехал сюда. Тип еще тот, буржуй без примеса. При Временном кинулся в их комиссаришки, даже вызвался сопровождать бывшего наместника края генерала Куропаткина в Питер, когда его отсюда сместили. Там пристроился. А теперь себя большевиком числит и требует за заслуги должность! Мстительный и верткий. Сам бы кончать тебя не стал. А велел бы кому-нибудь тебя шлепнуть! Бывало уже! Руки не хочет запачкать! – сказали мне в ревкоме при выписке проездного документа до Оренбурга.

Все это могло остаться обыкновенным эпизодом, если бы в тюрьме я не оказался свидетелем расправы новой власти над арестованными представителями старой власти. Все пережитое мной до сего момента оказывалось обыкновенным свежим ветерком против всепоглощающей бури. Я на войне не чувствовал столькой близости смерти – смерти без славы, без пользы, а только по прихоти гнусного, как выразился комиссар Брадис, человеческого материала. Новая большевистская власть поставила себя так, что в день моего заключения в тюрьму туземная власть объявила в Туркестане автономию, но автономию не от России, как о том волхвовал все тот же комиссар Брадис, а автономию от самих большевиков. Как они видели это, я за них сказать не могу. Вернее всего они не видели никак, а были соблазнены новым термином, потому что само по себе провозглашение независимости территории от части населения этой территории – это обыкновенные абсурд и несуразность. И большевики, конечно, это поняли, и, конечно, этим воспользовались. Но они воспользовались этим несуразным провозглашением не для расправы над туземной властью, что было бы преступной, но все-таки логикой. Они воспользовались сим обстоятельством, чтобы расправиться с властью старой. Этой же ночью в тюрьму прибыли некие большевистские представители, изобразили некое подобие суда и приговорили к смерти нескольких заключенных, среди которых, как мне сказали, были наказной атаман Семиреченского казачьего войска генерал Кияшко, интендант Туркестанского военного округа генерал Смирнитский и еще несколько несчастных. Сразу по вынесении приговора

их стали истязать – совершенно без какой-либо вины или мести, а только из большевистского классового садизма. Чтобы заглушить крики несчастных, кто-то догадался заставить охранную команду напоить и в пьяном виде исполнять революционный гимн французской революции, взятый гимном, кажется, всех наших революционеров. Никакой гимн, никакой пьяный рев, конечно, не могли заглушить криков несчастных, и они неслись по всей тюрьме. Я ждал, что такой же будет и моя участь. При истязании, говорят, присутствовал упоминаемый мной бывший поручик-вор и нынешний глава новой власти Перфильев. Останки еще живых несчастных жертв, превращенных в месиво из дробленных костей и рваных мышц, он приказал бросить голодным собакам.

– Кто тут еще из контры есть? – услышал я после всего чей-то начальнический вопрос, возможно, вопрос самого Перфильева. Ему что-то было в ответ сказано, может быть, и про меня. Но тот же начальнический голос сказал: – Ладно, потом! Теперь поспать надо!

Что еще сказать?

Ничего из происходящего не поддавалось никакому объяснению. Везде в Туркестане говорились о голоде. Но мы с сотником Томлиным ехали в Оренбург эшелонам, полным продовольствия. Охрана эшелона утверждала, что обратно они повезут партию русских девушек для домов свиданий. Их якобы кто-то в Туркестане выменял на туркестанское продовольствие.

Оренбург при всей начавшейся войне между казаками и большевиками нам показался оазисом цивилизации.

Казачью власть представлял казачий атаман полковник Дутов, одновременно состоявший на каких-то высоких полномочных должностях у Временного правительства. Большевиков он не признал и их разгула не допустил, объявив город на военном положении. Противоборствовать ему большевики направили из Петрограда своего ставленника по фамилии Цвиллинг. Но тот ли это был Цвиллинг, который орудовал в Туркестане, я не знаю. Думаю, не так уж много на белом свете Цвиллингов, чтобы их было и там, и здесь. А впрочем, сам черт не разберет их, Цвиллингов, Бернштейнов, Блюмкиных, Вичкиных, Бричкиных, Опричкиных. К нашему приезду западней Оренбурга и со стороны Челябинска уже шли полномасштабные боевые действия. На Оренбург кинулись, кажется, полстраны, включая Петроград и наш Екатеринбург. Среди самих оренбуржцев не оказалось должного единства. Фронтовики устали воевать. К тому же им наобещали сладкую жизнь, если они не выступят против большевиков. К Рождеству Господню большевики имели успех взятием столицы третьего отдела Оренбургского войска города Троицка, а через три недели они взяли и сам Оренбург. Их власть, таким образом, установилась на всей нашей дороге домой. И на этой дороге снова помогала нам с сотником Томлиным моя справка, за которую от сотника Томлина я получил любезное прозвище двурушника.

– Я тут его спасал, а он, оказывается, при справочке был! – как бы в невозможности постичь моего коварства, развел он руками.

3

К станции Екатеринбург-Второй поезд подтащился за полночь. Мне на наш угол улиц Второй Береговой и Крестовоздвиженской отсюда было ближе. И я собрался соскочить, подобно сотнику Томлину, сказав, что мне здесь по Сибирской улице напрямки.

– Да что вы, милостивый государь! Всю дорогу я вам рассказываю о ночных безобразиях, а вы все в толк не возьмете! Ведь разгул ночью на улицах полный! Никакой комендантский час не спасает! – сказал притиснутый к нам в отсек некто екатеринбургский обыватель Александр Иванович Фадеев, именно так, обывателем, нам представившийся. Был он, конечно, из крупных чиновных или купцов, но купцов уже не тех классических екатеринбургских прошлого века, а уже усмирённых образованием, взглядами на Европу и потомственной усталостью детей размашисто поживших родителей. Он старался это скрывать, старался делать из себя обывателя, мелкого артельного или кого-то в этом роде. А происхождение все же прорывалось. Он спохватился и, как ему казалось, исправился. – Шлепнут вас, куда с добром! – сказал он.

– Да уж! – тая улыбку, сказал Бурков совершенно по-томлински, и я даже вздрогнул от совпадения его интонации. – Да уж. Шлепнут не уголовные, так патрульные! – прибавил он со вздохом.

Я нашел правду в их словах и, вглядываясь в совершенно мутный от отсутствия огней город, прикатил на станцию Екатеринбург-Первый.

– Оба держитесь меня! – предупредил Бурков.

Кем он был на самом деле, мы с сотником Томлиным за всю дорогу от Оренбурга так и не смогли определить. Он сказал только, что командирован в Екатеринбургский гарнизон от Оренбургского совдепа с каким-то весьма внушительным мандатом.

– Вот спасибо-то! – искренне обрадовался в образе обывателя Фадеев.

К поезду вывалила возбужденная толпа солдат с винтовками. Ее ор пробился в вагон даже через все заглушающее шипение паровоза.

– Держитесь. От меня ни на шаг! – еще раз сказал Бурков.

Я же себе сказал: «С возвращением к родным пенатам, ваше высокоблагородие, защитник Отечества господин подполковник!» – Никакие пенаты меня не ждали. Писем от сестры Маши я не получал с лета и совершенно не знал, что с ними, что с домом, и вся моя надежда была только на нашего Ивана Филипповича – надежда в том смысле, что ни по какой революционной реквизиции его-то из его каморки не выселили.

Поезд остановился. Пассажиры хватили из вагона. Навстречу ударил плотный и развязный, сознающий свою безнаказанность, мат.

– Вываливай побыстрей! – в десятки глоток заорала солдатская толпа.

Я вцепился за ремень Буркова и велел Фадееву вцепиться за ремень мне.

– Куда, сволочь! Вываливай! Не задерживай! – орала толпа и сама же облепляла вагон, не давая пройти.

Фадеев сзади со ступенек упал на меня. Его, кажется, ударили кулаком в лицо, потому что я услышал характерный тупой и смачный удар. Фадеев смолчал и моего ремня не отпустил. На Буркова заорали сволочью. Он ответил тем же.

– Ты, мать-перемать, сволочь, чего? Ты не видишь мандат, сволочь? Эти двое со мной! Со мной, я сказал! Где начальник охраны? – зло закричал Бурков.

Он, вероятно, подумал, что вся эта солдатская толпа, вернее, вся эта ощеренная и единая в своей ощеренности пасть, являла собой стационарную охрану с задачей проверки документов. «Это новая Россия!» – как бы ему в возражение, молча усмехнулся я.

Мы продрались сквозь эту новую Россию в вокзал, как оказалось, в Россию еще более новую, потому что окунулись в трудно воображаемое зловоние промерзшего и загаженного,

невероятно забитого народом помещения. Бурков спросил комнату коменданта. Немного помня расположение вокзала, я подсказал. В его комнате толкались с десяток злых, курящих и плюющихся солдат. К самому окну был притерт замурзанный железнодорожный чин. За столом с телефонными аппаратами ругался чернявый чин в офицерской тужурке.

– Я вам говорю, товарищи! Я таких вопросов не решаю! – тонко, со срывом голоса кричал он.

– А ты решай! – кричали на него солдаты.

– Я отвечаю только за станцию! Вот пришел состав! Занимайте его! Он пойдет на отстой! В вагонах вам будет до утра выспаться! – отвечал человек в офицерской тужурке.

– Ты нам будешь указывать! – хотел хватить его кулаком один из солдат.

Его остановили.

– Может, займем? – спросил один.

– Да ладно, займем! Его уже и так робяты занимают! Все лучше, чем здесь! – заговорили все.

– Предупредите машиниста! – велел человек в офицерской тужурке.

– Я те все равно!.. – зло сказал ему тот солдат, который хотел хватить его кулаком.

– Вам чего? – завизжал на нас человек в тужурке.

Всю дорогу от Самарканда мне приходилось играть роль солдата. Я промолчал. Бурков ткнул ему мандат.

– Ты комендант? – и с той же злобой, с какой он пробивался сквозь толпу только что, и без какой в России, кажется, ничего уже не делалось, прокричал он.

– Коменданта нет! Я его помощник товарищ Политковский! Освободите служебное помещение! – закричал помощник коменданта.

«Господи!.. Стаховский, Блюмкин, Шахназаров, Брадис, Политковский!» – в уме перевел я в том смысле, что еще недавно были они, вся эта новая власть, в фамилиях, оканчивающихся на «ко» – Крыленко, Дыбенко, Овсенко, так что даже наш невозмутимый командир Третьей кубанской казачьей бригады Николай Иванович Кравченко рассвирепел и грохнул кулаком по столу: «А пид суд? Суд, кажись, ще без ко!»

– Ну, так ты звони дежурному коменданта гарнизона города, доложи, что прибыл Бурков! – снова закричал Бурков.

– Коменданта гарнизона города давно уже нет! Приказы военного отдела по управлению гарнизоном подписывает товарищ прапорщик Селянин! Все вопросы к нему! Покиньте помещение! – показал на дверь помощник коменданта.

– Звони, сволочь! – оскалил зубы Бурков.

– Товарищ! Звонить бесполезно. Это вам говорю я, ответственное лицо, наверно, единственное в городе ответственное лицо. Дежурный сейчас или спит, или прихватил кралю от Бобиной или Головиной, этих содержательниц подобного рода девиц. Я тоже не был бы с перекошенным от негодования лицом, если бы мне были подобные крали. Но я не могу! Если даже ваш дежурный подойдет к телефону, что он скажет! Он скажет: пусть ваш предъявитель мандата подождет до утра! – И это будет лучшим ответом, – сбавил в тоне помощник коменданта. – В вашем Оренбурге, наверно, есть какой-то порядок. А в нашем Екатеринбурге, товарищ, вы думаете встретить такой же порядок? Вы встретите здесь полный беспорядок. Вы слышите? – он ткнул в сторону перрона и в сторону зала. – Вот вы что встретите. Вы лучше останьтесь на вокзале. Это я могу вам сказать. Вот прибыла рота пехотного Корсунского полка для охраны станции. А у меня нет охраны, чтобы от них станцию охранить. – Он снова ткнул в сторону перрона и в сторону зала. – Только что она здесь требовала обеспечить их ночлегом и питанием. Только что я чуть остался жив. Где я возьму накормить сто пятьдесят человек? Вы слышали, я разрешил занимать ваши вагоны. А питаться уже все привыкли за счет приезжего народа, вот за счет вас, товарищ! – он указал на Фадеева.

Фадеев тотчас как-то по-бабьи и в ужасе всплеснул руками.

– Господи, Боже мой! Так ведь у меня заплечный мешок исчез! – вскричал он. – Мы с Бурковым оглянулись на него. – Вот здесь, на спине, – Фадеев совершенно по-детски показал нам спину черного своего пальто. – Вот здесь у меня был мешок с продуктами. И он исчез!

– Вот! – победно вскричал помощник коменданта. – Товарищ был с мешком. Теперь остался без мешка!

– Может быть, в вагоне забыли? – спросил я.

– Что вы! Как же забуду! Да ведь при вас все было! Вы мне лямку поправляли! – потерял в образе обывателя и обиделся на меня Фадеев.

– И не удивительно! Грабят целые вагоны! Разбивают пакгаузы! – сказал помощник коменданта. – Я что хочу. Я по заданию областного комиссара транспорта товарища Гребенева делал докладную записку. Так я вам скажу. Я прямо указал, что, бывает, за ночь начисто опустошают по тридцать, а то и по сорок вагонов, то есть целые составы! Разгул дикий. Вам повезло, что перед вами прибыла эта рота, которую вы только что видели. А если бы ее не было, вас бы непременно стали обыскивать. Вот тогда у вас все бы отобрали! А вы о мешке вспомнили! Да вас бы, – помощник коменданта посмотрел на меня и потом на моих спутников, – да вас бы непременно арестовали! И кто бы арестовал? А товарищи из охраны бы и арестовали и не стали смотреть на ваш мандат! Потому что ваш мандат для них – это уже власть. А они не хотят никакой власти! Это вам не ваш Оренбург! Да что там! – помощник коменданта поискал в бумагах и протянул номер какой-то газеты, которую Бурков взял, но, не посмотрев, вернул. – Вот, пожалуйста, вам! Арестовали и убили! И сообщили в газете! Зачем сообщили? А чтобы все остальные знали, что они власть и делают, что хотят! А вот делать порядок они не хотят! Товарищ Гребенев мне говорил за мою докладную записку, прошу пардона, сейчас зима, и не так заметно. Но в городе вместо необходимых трехсот тридцати золотарей работают только тридцать! Что будет весной с городом! Этого знать и делать этот порядок они не хотят! А вы тоскуете о мешке!

– Так ведь продукты! И как же можно, чужая вещь, на чужих плечах! – безутешно шарил по пальто, будто искал лямки мешка, Фадеев.

– Ты что же, против революционной власти? – зло спросил помощника коменданта Бурков.

– Товарищ! – усмехнулся помощник коменданта. – Я не сидел бы здесь и не отвечал бы за самое ответственное место в революции, за железную дорогу! Я принадлежу к партии социалистов-революционеров, которая вся при режиме сидела по тюрьмам, а кто не сидел, те висели за свою революционную убежденность по виселицам!

– Так что же ты тут нам со своим Гребеневым контру разводишь? – спросил Бурков.

– Я не контру развожу, товарищ! Я сознание дела говорю! Я о наличии революционного порядка говорю! Убить без суда на улице человека, стащить чужой мешок – это не наличие революционного порядка! Я на этой платформе не согласен с товарищами из местного совета! – довольно жестко сказал помощник коменданта.

– А про дерьмо по улицам! – напомнил о золотарях Бурков.

– Я что могу сказать! Вы слышите, что творится на вокзале! – перевел разговор помощник коменданта. – Я вам скажу. У меня здесь по коридору, пока его не заняли, есть помещение для хозяйства, всякие там тряпки, ведра, метлы. Я прошу пардона. Я вам предлагаю переждать ночь там. Поверьте – там будет, где отдыхать! Больше на всем вокзале у вас это не получится. Даже у меня в комнате не получится! Сейчас навалит солдатня – и ваш отдых пойдет прахом! Пойдемте, товарищи! Я вам покажу!

В этом хозяйственном помещении, то есть конурке без света, во тьме поужинав сухарями и подложив под головы метлы, мы улеглись ждать утра.

– Контру он не разводит! – с негодованием пробурчал Бурков, засыпая.

Фадеев зашептал молитву. А я постарался заснуть молча, но заснуть не мог. Мне в мучительной дреме грезились то оставшаяся позади дорога, то город, который неизвестно что ждало весной, то что-нибудь из детских воспоминаний, коротких и неярких.

Для полноты картины всего революционного порядка я прибавлю небольшую сценку с моим участием, получившуюся ближе к утру. Я пошел поискать места для исполнения команды «оправиться». Если сказать, что на вокзале было занято все – значило не справиться с задачей. В зале мне предстала картина бугристого, кажется, в несколько слоев слепого, объема всевозможно размещенных человеческих тел. Напрочь был занят и коридор. Я и из каморки-то вышел, лишь заставив подняться нескольких придавивших дверь человек.

– Куда тебя, черт? – зло засипели они.

Я протиснулся к помощнику коменданта. В его комнате, где только было можно, лежали, сидели и топтались злые, не проспавшиеся люди. Сам он, кажется, не узнавая, дико блеснул на меня глазами. Он едва сдерживал близкую истерику. Исполнить команду он мне предложил там, где я сочту возможным, хоть прямо в его кабинете и протянул листок бумаги.

– Вот, могу помочь! – сказал он.

Я его не понял и взял листок. Он оказался с печатным текстом. Из текста я невольно выхватил заголовочное слово «Приказ». Я стал читать. Приказ оказывался по гарнизону города месячной давности и состоял из телеграммы штаба Казанского военного округа, в который входил местный гарнизон. Меня сладко потянуло в спине – столько я, оказывается, стосковался по службе. Я прочел его единым махом. Он просил о недопущении формирования и передвижения в пределах округа украинских национальных воинских частей и лишения уже сформированных всех видов довольствия от казны. В силу некоторых обстоятельств, то есть в силу того, что я был великороссом, приказ меня не касался. Я с вопросом посмотрел на помощника коменданта.

– Можете исполнить! – сказал он.

– Приказ? – спросил я.

– Вашу потребность! – взвизгнул он.

Потребность дать ему в морду я исполнять не стал. Я вернулся в каморку ждать окончания комендантского часа, дождался, попрощался с моими дорожными товарищами и, хотя было еще совершенно темно, вышел из вокзала вон.

С привокзальной площади через огромные ледяные колдобины я ступил на такие же колдобины нечищеного Арсеньевского проспекта, в моем детстве именуемого улицей Верхотурской. Уместно было бы вспомнить, как мы всей семьей по этой улице ехали к поезду в далеком девятьсот шестом году. В связи с моим окончанием гимназии и непреклонным решением идти в военную службу, матушка наша отъезд на Бельскую дачу отложила. Она же спросила у батюшки нашего Алексея Николаевича о ближайшем военном учебном заведении. Из двух ближайших – Оренбургского и Казанского – она выбрала Казанское. Причин для такого выбора были две. Первая – удобство проезда в Казань и неудобство в Оренбург, в который от Челябинска приходилось добираться на почтовых. Вторую она высказала так: «У казаков он только пярять людей пикой научиться!» И мы все поехали в Пермь. Там мы отгостили у старшего нашего брата Гриши. Потом матушка с Машей, ее мужем Иваном Михайловичем, двухлетним Бориской и нянюшкой сели на уфимский пароход, мы же с батюшкой – на казанский. По дороге в Казань я принялся уговаривать батюшку ехать в Вильну. «Как брат Саша!» – принялся говорить я, и батюшка, очень переживающий судьбу Саши, окончившего курс виленского училища, воевавшего в Маньчжурии, а потом пропавшего без вести, почти позволил себя уговорить. И я почти был счастлив. Но по прибытии в Казань он твердо сказал, что матушка такого не переживет, что уже то хорошо, что она согласилась на Казань, что она вообще согласилась на военную мою учебу.

Уместно было это вспомнить, но я не вспомнил.

На углу проспекта тускло мерцало окнами двухэтажное здание, возле которого стояли несколько лошадей с розвальнями и бочками. Я вспомнил про тридцать золотарей вместо трехсот тридцати. Из распахнутых ворот вышел мужик в малахае, коротком мятом полушубке под кушаком и непомерно больших валенках. Он подошел к одним розвальням, остановился, молча пнул бочку. Услышав мои шаги, он оглянулся, и как старому знакомому, сказал:

– Худой бочка, совсем худой! Прошу другой. Говорит: эта чини!

– А что не починить? – спросил я.

– Надо чинить – надо туда-сюда возить бросать! А как буду малый татарчата кормить? – сказал он.

– Да, худо, – согласился я и спросил, что за учреждение в доме.

– Инвалидский лазарит, товарищ! Теперь все товарищ! Теперь никто работать не хочет. Раньше дал бы другой бочка, а теперь только говорит «товарищ»! – сказал он.

– Да, товарищ! – сказал я.

Он остался при бочке. Я пошел дальше. Но видно, чем-то мы задели друг друга. Я оглянулся. Он смотрел мне вслед, увидел, что я оглянулся, и махнул рукой. Первый земляк попри-
ветствовал меня в родном городе.

Мне следовало бы сразу свернуть вправо и Турчаниновской улицей, мимо дачи Базилевского, мысом вдающейся в городской пруд, выйти на его лед, туго перепоясанный множеством дорожек и тропок, со льда выйти на Тарасовскую набережную, пересечь Главный проспект, покрестив лоб на Екатерининский собор, полтора саженей прошагать по Механической и упереться в родную Вторую Береговую. Но черт толкнул меня беспечно попереться по Верхотурской прямо к мосту через речку Мельковку и к Вознесенскому проспекту. Я поперся. Издалека, от угла Основинской улицы, я различил на мосту две смутные неподвижные фигуры. Явно они были патрульными. Характер мой, дающий мне только вид умного человека, свернуть на лед пруда не позволил. Я сказал себе, что бояться патрулей мне не было причины. Я был во всем солдатском, приобретенном сотником Томлиным еще в порту Энзели. Я пошел на мост.

Фигуры зашевелились. Одна ступила несколько шагов мне навстречу, вторая осталась на месте. Обе сняли с плеч винтовки. По их движениям я определил, что они основательно промерзли, и порадовался на их рвение к службе, вопреки революционным нравам. «Солдатики!» – с теплом подумал я. Первая фигура подпустила меня на несколько саженей и велела остановиться. Я остановился и различил в фигурах не солдатиков, а местных обывателей, возможно, из числа тех, о которых меня предупредили, что «шлепнут».

– Кто такой? Что в сидоре? – спросил ближний обыватель.

– Да так, сухари солдатские да портянки! А, вот еще котелок! – сказал я сущую правду, потому что в мешке за плечами у меня на самом деле были только сухари, котелок, бритва и моя старая артиллерийская форма. Мои ордена и погоны еще в Ташкенте сотник Томлин зашил в мешочек, который велел мне приторочить к подштанничному обшлагу. «Найдут, так расстреляют! А может, и щупать не будут – сразу расстреляют!» – сказал он и показал такой же мешочек у себя.

– Скидай! – сказал ближний обыватель.

– Что скидай? – выигрывая время, спросил я.

– Сидор скидай и развязывай! – сказал обыватель и махнул винтовкой.

– Товарищ! Я с фронта с под Оренбурга! – еще потянул я время.

– А мы рабочая дружина с Монетного двора! Скидай и развязывай, а то у нас живо! – сказал обыватель.

– Товарищ, мне тут вот до дому две улочки пройти! – показал я не в свою сторону, а прямо.

– А хоть на Кукуй! Я сказал, скидай! – заругался обыватель.

– Ты давай там! С под Оренбурга! – поддержал напарника руганью второй обыватель.

«Сволочь немытая! – в смысле: – Сволочь невоевавшая!» – обозлился я, рванулся на винтовку первого в расчете, что, промерзший, он ничего не успеет. Так и вышло. Он не успел поднять ствол, а я уже выворотил винтовку у него из рук и дал ему прикладом, потом рванулся на второго. Он в страхе дал назад, поскользнулся и, падая, винтовку выронил.

– А-а! Не надо! – завизжал он.

– Что не надо? – спросил я, вынул из обеих винтовок затворы и забросил в сугроб влево от моста, а сами винтовки в сугроб справа от моста. – Что не надо? Говорил вам, сволочи, что мне тут рядом! – сказал я и побежал с моста не прямо на Вознесенский, а вправо на Глуховскую, забежал в первые же ворота, напугал во дворе бабу, бравшую с поленницы дрова, спросил, могу ли со двора пройти дальше, хотя сам увидел, что не могу, что путь преградили выгребная яма и за ней забор.

Я вышел со двора, прошел по Вознесенскому переулку до дома Шаравьева, как-то непутево поставленного так, что дорожное полотно проспекта вышло ему едва не на уровень крыши, что меня всегда понуждало жалеть хозяев. От дома Шаравьева я увидел у Вознесенской церкви народ и смешался с ним, а потом Верхне-Вознесенской улочкой, пустой и выдающей меня коротким и заполошным скрипом снега под сапогами, вышел к Главному. Тотчас я уперся взглядом на здание нового театра, которого я еще не видел, охнул на его пусть и провинциальное, но великолепие и охнул на обязательную русскую антитезу – на бесформие сараев, ларей и прочего хлама остатков бывшей Дровяной площади вокруг театра. Дальше я Солдатской улицей дошел до угла Крестовоздвиженской и свернул к своей Второй Береговой.

Я издали увидел Ивана Филипповича и невольно ускорил шаг. Иван Филиппович с лопатой и ломом стоял над ледяным надолбом подле наших ворот. Он смотрел перед собой, наверно в сомнении осилить надолб. Я был в улице один. Скрип моих шагов заставил его оглянуться. Он посмотрел в мою сторону, в сердцах сплюнул и пошел во двор. Я крикнул ему и побежал. Он вернулся.

– Иван Филиппович! – снова крикнул я.

– Ах ты боже мой, Борисанька! – раскорячился он навстречу, раскорячился, размахнулся на обе стороны и с лопатой и ломом вдруг стал походить на наш герб, на двуглавого орла, без одной головы, конечно. – Ах, ты, Царю небесный, отец родной! – затоптался он на месте в стариковской немощи побежать, полететь мне навстречу.

Я остановился перед ним, как перед гербом, и сказал только:

– Иван Филиппович! Вот и я! – а потом ткнул в сторону обледенелого надолба, будто он был самым главным на эту минуту. – Оставьте, Иван Филиппович! – сказал я, а потом сказал, как бы уже пребывая в курсе всех городских дел. – Оставьте! Все равно никто ничего не делает! Весной все поплывет! Вместо трехсот тридцати золотарей в городе работают только тридцать, да и у тех бочки – никуда!

– Запоганили! Запоганили, Борис Алексеевич! Сил нету! Во двор выйти сил нету. В дом войти сил нету! Все начисто запоганили. Малую нужду справляют с крыльца. Большую валят мимо дыры! Населили в дом сброду, какого не выдывал никто сроду! – запричитал Иван Филиппович.

– Как же населили? Кто? – спросил я, хотя еще из письма сестры Маши мне в корпус, в Персию, знал, что населили эвакуированных, что они ничего не берегут, а на замечания грозят донести власти. Так их нынче учат.

– Утром я выхожу, – не слыша меня, вскричал Иван Филиппович, – выхожу, а он прямо с крыльца ладит! Я ему лопатой в загривок! Да где! Ведь увернулся! Ведь верткий, собака такой, и мне кричит, дескать, он след-от заметет, а то, кричит, тебя, старика, прямо сдам в совет, будешь знать, как на советского работника орудие поднимать!

– Да кто же, Иван Филиппович? А Маша где? А Иван Михайлович где? – снова спросил я.

– А кого советный работник! Како совето они подадут, когда сами до дыры сходить не научились, когда сами по совету да ладу одного дня не живывали! – не слушал меня Иван Филиппович.

– Да Иван же Филиппович! – пошел я мимо старика во двор.

– Живут, а хоть бы кто двор почистил! Совето они, видишь ли! – пошел за мной Иван Филиппович.

Несмотря на топтанные собаками и политые помоями, где ни попадя, сугробы, загрозившие двор, он мне показался пустым. Я приостановился. Иван Филиппович ткнулся мне в спину.

– Во-во! Чего натворили! – сказал он.

Я увидел, что во дворе нет двух старых лип.

– Кончали! Как пошла свобода, как дров не стало, так и кончали! На Шарташской станции дров этих жечь не пережечь! Дак, где же! Оттуда ведь надо везти! А они ведь совето! Ныне осенью и кончали! Всем гамазом свалили да, почитай, Борис Алексеевич, так и бросили! Вон ветки из сугробов торчат! Разве же липа – дрова! Да сырая! Нечто она им гореть будет, дуракам! Она поумней их будет, дураков! Так и греются тем, кто сколь напердит! А я сказал: вы Божии лесины кончали, вам и издохнуть от холоду! Так меня опять хотели во власть отвести! А туда поведут, так по дороге застрелят, как вон какого-то присяжного на днях застрелили! Повели, да лень вести было – и застрелили! – снова запричитал Иван Филиппович.

И вот только сейчас, наверно, от того, что вместе с липами исчез двор моего детства, я до ломоты в костях почувствовал свое одиночество. Из всего того, чем я жил, у меня ничего не осталось. Василий Данилович Гамалий, Коля Корсун, все другие мои сослуживцы, вестовой Семенов, да даже Валерия, даже лошадь моя Локай составляли то, чем я жил и хотел бы жить до скончания века. Но оно, это все, осталось где-то позади и безвозвратно позади, осталось так бездарно мной растранижено, что вернуться к нему я не мог. Я смотрел на изгаженный двор и не понимал, зачем я сюда вернулся, зачем все это, что было сейчас передо мной, мне нужно было смотреть. Я понял, сколько я не просто неумный человек, а сколько я вообще никто, если позволил обойтись с собой так, как вышло – если я позволил какому-то комитету с его товарищами Сухманами и Шумейко, или, как их в гневе и презрении называл черноморский казак и генерал Николай Иванович Кравченко, какому-то «ко-ко-комитэту», отчислить меня от корпуса, заставить меня лишиться всего, чем я дышал, и притащиться сюда, в подлинную пустыню, в местность с тридцатью золотарями и какими-то советскими работниками в моем дворе детства, в доме моего батюшки.

Перед отъездом из штаба корпуса я получил от Элпет письмо последнее от нее письмо. Она написала его нашими, совсем чужими для ее пальчиков, но ставшими родными для ее сердца кириллическими знаками. Сразу же за первыми словами о ее любви, она стала просить перейти меня на службу в британскую армию, заверяя, что решение принято, что мне только следует согласиться. «Борис, – уверяли меня ее пальчики, – ты не изменишь присяге, не изменишь своей стране. Ты некоторое время будешь офицером его величества короля Георга. И мы будем вместе. А когда у вас в стране снова будет порядок, мы поедем к тебе, в твою и уже мою Россию. Я буду везде и всегда с тобой. Я никогда не вздохну от усталости и сожаления. И, Борис, я...» – дальше было слово, сделавшее нас счастливыми. Она ждала от меня ребенка.

Этого письма у меня тоже не было. Пока я сидел в ташкентской тюрьме, его уничтожил сотник Томлин.

– По двум причинам, – сказал он. – По первой причине, чтобы тебя не шлепнули как британского шпиона. По второй причине, курить было охота, как из ружья!

Ничего этого теперь у меня не было. Со злым счастьем я пошел в дом, завернул к крыльцу и увидел, что в нашем небольшом саду, выходящем на улицу Вторую Набережную, не было старой раскидистой китайской яблони.

– Тоже они? – спросил я.

– Оно, совето! – выдохнул Иван Филиппович.

Он выдохнул, а воздуха не стало хватать мне. Я заступил одной ногой на ступеньку и оперся на перила. Прямо у меня перед глазами был сугробец действительно со следами того, о чем говорил Иван Филиппович, а дальше был разломанный забор в сад без китайской яблони.

– И нет ни околоточного, ни пристава! Шастают только патрули, так им не попадайся! – еще сказал Иван Филиппович.

– И нет никого! – сказал я себе.

– Никого нет! – услышал Иван Филиппович. – И что с ними, один Бог ведает. Мне поехать к ним – не с руки дом на этих оставить. А им поехать сюда – так, небось, живых-то нет! Небось, арестовали да застрелили, как этого присяжного! Я ведь по ночам плачу. Днем с этими воюю. А по ночам-то молюсь да плачу!

– За что же арестовывать? Иван Михайлович – агроном, совершенно нужный любой власти человек! – в прежней пустоте сказал я.

Описывать беспорядок и грязь в доме уже не было смысла – они равнялись тому, что было во дворе. В больших комнатах родительской спальни и батюшкиного кабинета жили две семьи, мою комнату заселял какой-то чернявый тип лет двадцати от роду. Комната Маши и гостевая комната были загромождены имуществом, какое Иван Филиппович сумел спасти. Семейные жильцы не поздоровались со мной, поджались и закрылись у себя в комнатах. Потом один вынес какую-то бумагу.

– Вот, у нас вид на жительство в этих комнатах от новых властей! – сказал он.

А тип, оказавшимся советским работником, собирался в учреждение и пил кипяток с сухарями.

– Служу в горпродкоме, а питаюсь вот так! – сказал он, помолчал и, глядя на мои солдатские сапоги, прибавил: – Я в партячейке состою. Буду снова проситься на Дутовский фронт! – еще помолчал, видимо, пождал моей реакции. Я молча оглядывал комнату во всем невероятном ее безобразии. Он снова посмотрел на мои сапоги. – Я в таком отношении к членам партии оставаться не могу, мне на организм влияет! – сказал он и, видимо, в качестве советского служащего, перед которым я был никто, прибавил: – А тебе, товарищ, как бывшему военному, надо встать на учет. Это надо сходить в управление уездного воинского начальника на Водочную улицу!

Иван Филиппович не выдержал.

– Да уж Борис Алексеевич знают, что и куда! Они Отечество защищали, пока ты тут с крыльца двор метил! – в язве сказал он.

Тип молча отвернулся.

В гостиной комнате, служащей проходной для всех остальных комнат, я спросил Ивана Филипповича принять ванну. Оказалось, еще год назад он позвал слесаря и отвинтил трубы – разумеется, чтобы ею не пользовались новые жильцы. Я спросил про городские бани.

– На Исети в проруби толку будет больше! – в злорадстве махнул он рукой, а потом показал в сторону жильцов: – Эти разбредутся, я с чердака дровишек достану и нагреею воды корыто! – и сладострастно хихикнул, будто сделал большую и долгожданную гадость.

Я пошел в комнату Маши, не раздеваясь, лег на маленький диванчик в надежде побыть одному и подумать, что мне делать дальше. Но ни о чем подумать я не успел. Я тотчас заснул. Сквозь сон я слышал, как Иван Филиппович ругался с жильцами, говорил, что вернулся хозяин, что теперь-то им будет куда с добром. Я хотел проснуться, выйти и сказать Ивану Филипповичу втихомолку, чтобы он не ругался и уж тем более не говорил, кто я. Но проснуться я не мог. Через какое-то время я опять услышал разговор Ивана Филипповича с кем-то из жильцов. Жилец просил Ивана Филипповича помочь ему через меня в каком-то в одном деле, которое он, жилец, называл незаслуженно поставленным в щекотное положение.

– Вы поговорите с вашим офицером. Очень щекотное положение! – просил жилец.

Я опять хотел проснуться и предупредить гоношливого старика не болтать лишнего. И опять не мог проснуться и только отметил, что он уже наболтал. Я видел Элспет, мою невенчанную жену, видел рядом нашу будущую дочь, которая была в образе Ражиты, зарезанной четниками шестилетней девочки. Я рвался к ним, в Шотландию. Но у меня выходило быть только в Персии, только в бельских лугах или на улицах Екатеринбурга, летних, томных, мягко отражающих свет от тротуарных плит белого известняка. Екатеринбург мнился светлым и красно-белым – по цвету зданий, будто в нем никогда не было черных и серых деревянных строений. И каким-то странным образом на этот Екатеринбург наслаивался Екатеринбург нынешний, непонятно какой, в котором только то и было, что тридцать золотарей.

К полудню Иван Филиппович разбудил меня. Я помылся в корыте, нашел прежнюю свою гимназическую одежду, обулся в старые пимы Ивана Михайловича и почувствовал себя совсем потерянным, едва не раздавленным. Этому чувство придало остроты наше с Иваном Филипповичем чаепитие со сбереженными им от дореволюционных времен чаем и сахаром. Он мне рассказывал, как он тут живет, где что достает – керосин, хлеб, те же дрова. А я вспоминал Сашу, его медленное и молчаливое хождение по дому после возвращения с фронта из Маньчжурии. Саша молча ходил и на все глядел как-то странно, будто осваивал житье в доме заново. Мне ходить по дому и на все молча смотреть не выпадало. Саша вскоре же стал из дома пропадать. Я его мог видеть с другими офицерами на Покровском у номеров. Он стал возвращаться домой пьяный, развязывал башлык, целовал руки матушке и нянюшке. Ничего подобного мне тоже не выпадало. Я опять, как во сне, возвращался к себе в корпус, в Персию, опять представлял моих друзей-сослуживцев. За последним совместным ужином все смотрели на меня, зная, что я поведу часть корпусного имущества на Терек. «Не с Кубани, так с Терека начнем!» – говорили многие и просили замолвить там, у генерала Мистулова, за них словечко. Потом мы говорили с Колей Корсуном, генерального штаба капитаном, моим незабвенным другом. «А ведь после этой сволочи придется Россию строить заново! Придется все отмывать кровью!» – говорил Коля Корсун.

Иван Филиппович говорил о хлебе и керосине. А я видел только Персию. И я ругал себя последними словами за то, что позволил каким-то сволочам отчислить меня от корпуса.

4

После чая мы с Иваном Филипповичем дотемна чистили двор, разбили надолб и закрыли ворота. Я вытащил из сугроба остатки липовых веток, тупым топором с треснутым и перевязанным топорщищем более их измочалил, чем изрубил, разбил остаток забора в сад, все сложил поленницей. Пока я занимался дровами, Иван Филиппович чистил туалет, сказав, что за «этими советами» он мне прибирать не позволит. А «советы», то есть жильцы мужского пола ушли из дому, пока я спал, а жильцы женского пола, угрюмые, некрасивые, не взглядывая на нас, но стараясь независимо, сначала с помойными ведрами, которые держали на ночь в комнатах, сходили к выгребной яме, а потом пошли со двора.

– Пошли своей Новиковой жаловаться! – сказал Иван Филиппович.

– Что за Марфа-посадница? – спросил я.

– А вот такая, что сама себя посадила тут, и куда до нее самой императрице! Весь околоток взяла! – сморкнул вслед женщинам Иван Филиппович.

Работа меня отвлекала от пустыни. А естественное действо Ивана Филипповича по очистке носа напомнило мне ночь перед боем на Олту – казаки-бутаковцы, строя рубеж обороны, вот так же чистили носы.

– Ну, вот так всех и взяла! – хмыкнул я.

– Взяла! – всхорохорился Иван Филиппович. – Взяла весь околоток. Ходит в их совете в дом Козелла, и баб так прибрала к рукам, что мужики теперь не суйся! Околоточного Ивана Петровича еще осенью с околотка сжила! Я ему говорю: «Как же ты, Иван Петрович, терпишь? Она же Бога срамит, кричит, де, его уже тыщи лет, как убили!» – а он только кокардой во лбу крутит, а ничего поделать не может, потому что кругом власть объявила свободу!

– Так эти-то, наши, пошли жаловаться на то, что мы за ними прибираем? Так, Иван Филиппович? – спросил я.

– А хоть и так! Теперь их власть, прощелыг и каторжанок! Побежали сказать, что мы мешаем их свободе сраму плодить! А еще скажут, что объявился ты, Борис Алексеевич, штаб-офицер, по-ихнему, и сказать нельзя кто! – еще раз прочистил нос Иван Филиппович. – А у самой-то у ней, у самой-то Новиковой сраму! Она в аптеке у Александра Константиновича поселилась. Я к нему прихожу персидского порошку взять, да мази противу того, что руки ломит. А он человек уважительный, нашу семью всю сквозь знает! Он – мне: «Иван Филиппович, дорогуша, ты взглянь, как могут образованные бабы жить!» – Я из уважения к нему взглянул. Так даже ватные клочья с засохшей кровью прямо – по всему полу!

– Раненая, что ли, или кровь носом шла? – не понял я.

– Так ранены бабы-то каждый месяц бывают! – всхихикал Иван Филиппович. – А рана-то одна. Они ее каждый месяц затыкают! Александр Константинович говорит, всю вату извела. Берет, а не платит, да еще грозит и потом кричит: «Долой буржуйский стыд!» – дескать, из Питера такая бумага пришла, потому что в Питере стали ходить голые!

– Пообносились? – будто не понял я.

– Да что ты, Борис Алексеевич! – рассердился на мою непонятливость Иван Филиппович.

Так, с моим ерничаньем и его сердитостью мы в темноте закончили работу, снова сели пить чай. Пришли и разбрелись по комнатам жильцы. Я стал стругать из полена топорщище.

– А Борис Алексеевич! А где же ты научился работе-то? Ведь штаб-офицер! Неужто у тебя денщика не было? – спросил Иван Филиппович.

– Так ведь артиллерия скочет, куда хочет! – отшутился я.

– Так ведь ты, выходит, трудящий. А они тебя объявят, неизвестно как! – сказал Иван Филиппович.

– А ты бы им больше обо мне рассказывал! – попенял я.

– Так ведь так доведут своим срамом-то, что в сердцах и выкрикнешь, что раньше-то хозяева-то все блюли! – оправдался Иван Филиппович.

– Ладно, – сказал я.

Я пошел к себе, то есть в бывшую комнату Маши. Едва я зажег лампу, в дверь постучали.

– Честь имею представиться, мещанин Ворзоновский! – то ли изогнулся, то ли повихлялся передо мной жилец лет пятидесяти. – Прошу извинения, что, – он выговорил не «што», а «что», – прошу извинения, что щекотность дела не позволяет ждать ангажемента отношения!

– Что же оно позволяет ждать? – усмехнулся я.

– Я глубоко извиняюсь за наше проживание в вашем доме. Но обстоятельства. Теперь в некотором роде все позволяет быть общим! Тем более, я вам уже скажу. Мы потеряли все. Войну начинают военные, к которым в некотором роде принадлежите вы. А теряют имущество гражданские граждане, к которым принадлежим мы. Тем более, что, – он опять сказал через «ч», – тем более, что и новая власть подтвердила наше право на ваши комнаты. Вы офицер, и вы...

Дальше я слушать не стал.

– Идите спать! – сказал я.

– Знаете, однако, времена! – стал он говорить еще что-то.

Я закрыл дверь.

Я не знаю, почему я не заставил их всех вычистить двор, не обошелся с ними, как обошелся с патрулем на Мельковском мосту. Я не знаю, почему я стерпел их неприязнь. Наверно, меня остановил инстинкт самосохранения или, еще более, инстинкт сохранения дома. Я нигде раньше не говорил – да и задуматься о том не было возможности – я нигде не говорил о том, что на войне мы все испытали на себе один природный закон, если войну можно совместить с законами природы. Этот закон гласил – кроме обыкновенной удачи или судьбы быть убитым или не быть убитым, на войне действует удача или судьба быть убитым, например, от взрыва снаряда, то есть вне зависимости, трус ты или герой. Если судьба бережет от этого, тогда вступает в силу тот самый закон, который мы, все фронтовики, вынесли. На войне все, кто выживает, выживает потому, что кто-то первым вместо него погиб. Первым погиб Раджаб. Первым погиб Саша. Первыми погибли бутаковцы. Меня судьба всегда ставила вторым. До второго смерть часто не доходила. Всякий погибший оказывался первым. Часть вторых, в том числе и я, остались живы. И у нас выработался инстинкт самосохранения. Мы научились жить в грязи, во вшах, без воды, в постоянном напряжении быть убитым, уже не замечаемом, но все равно в напряжении, когда психика готова на одно мгновение опередить событие, опередить смерть. Спад в психике – шаг к гибели.

Вот, вероятно, потому только я, вопреки себе, оставил жильцов в покое. Они боялись меня. Я был выше. Это меня заставило поступить так, как я поступил.

Опять, как в последнюю мою ночь в штабе корпуса, я спал урывками, все больше-то не спал, а что-то думал, но за всю ночь ничего определенного не надумал. Определенного взять было неоткуда. Передо мной была ледяная пустыня, ни границ которой, ни времени пребывания в ней я не знал. Я не знал, как поступят со мной в управлении воинского начальника, признают ли во мне прапорщика военного времени или копнут глубже и узнают, что я подполковник. Если копнут и узнают, то, как поступят со мной в этом случае – я тоже не знал. У меня был за спиной Ташкент, чудом не ставший мне могилой. Бог пронес меня мимо событий в Оренбурге. А здесь, дома, правила какая-то каторжанка Новикова. Здесь, дома, была неизвестно какая власть. Сотник Томлин говорил мне про ордена и погоны, зашитые в заглавник подштанников: «Нащупают, так шлепнут! А может, щупать не будут, сразу шлепнут!» – Вот этого приходилось ждать. И не было кого-то, кто бы подсказал.

Я не решил за ночь, какие документы мне нести в управление воинского начальника, подлинные или фальшивые. Сотник Томлин оказался не таким разгильдяем, каким показал себя

в Персии. Я лежал в тифозном бреду, а он мне сделал справку прапорщика Сибирского казачьего полка. Прапорщик военного времени против подполковника с академическим образованием несомненно выигрывал. Но ничего иного в подтверждение прапорщика я предоставить не мог. И таких, как я, скрывающих себя, явно теперь было очень много. И к таким должны были относиться соответственно.

Я заснул под утро и проснулся уже засветло, проснулся и выругался – так не хотелось мне просыпаться.

Позавтракал я опять с Иваном Филипповичем, перекрестился и пошел на Водочную улицу в управление воинского начальника с твердым решением оставаться при справке прапорщика. Утро вечера действительно вышло мудренее.

По пришествии моей очереди беспогонный чин за столом, но явно унтер, прочел мою справку, спросил документ об окончании училища. Я сказал, что окончил Виленское училище, но документ утерян в условиях боевых действий.

– В условиях боевых действий, – покрутил свой жиденький ус унтер. – Так, а как же ты оказался в Сибирском казачьем полку?

Я понял, что промахнулся, что надо было сказать хотя бы об Оренбургском казачьем училище.

– А черт занес! – в сердцах сказал я и далее сказал о госпитале в городишке Гори, о назначении из госпиталя в Первый кавалерийский корпус, как то было на самом деле.

– Утерян-то как? Что мне писать? – спросил в явном недоверии унтер.

– Писать, что утерян в условиях боевых действий! Ты хоть знаешь, где эта Персия, и что там творилось? – твердо и будто не догадываясь, что унтер мне не верит, сказал я.

– А документ об отпуске от полка? Где твой полк? А то училище Виленское. Полк Сибирский. Служил где-то едва не в Индии. Как-то все этак у тебя! – спросил унтер.

– Вот в справке, – показал я записку, какую сделал сотник Томлин, об откомандировании меня в Екатеринбург и не стерпел выговорить, что странности моей боевой судьбы зависели не от меня, а от службы. – Ты сам-то фронт видел? – спросил я.

– Довелось! – сказал он, опять покрутил свой ус, которому до уса сотника Томлина было, как крысиному хвосту до ослиного хвоста, посмотрел снова в справку и вдруг сказал: – Ага! – велел подождать и пошел куда-то по коридору.

– Убраться подобру-поздорову? – спросил я себя и остановил.

Унтер вернулся быстро.

– Вот что, – сказал он. – Это, написано «откомандирован». Это, значит, не к нам. Откомандирован – это значит в военный отдел по управлению гарнизоном на Механическую. Службы не знаешь, прапорщик! Или соскочить захотел в запас?

– Унтер! – засвирипело во мне.

– А может, команду вызвать да посадить тебя на гарнизонную гауптвахту? – как-то странно приятно улыбнулся унтер. – С нашим великим удовольствием. Очень хорошо посидеть тебе там, откомандированному! Там вша пожирнее и покусачее, чем в казарме!

– Честь имею! – забирая справку, сказал я по привычке.

Унтер сощурено посмотрел на меня и молча кивнул.

Я вышел из управления. Мороз выстраивал дымы в прямые и ровные столбы.

– А ведь славно! – сказал я.

Оборот дела был неожидан. Я ни разу не обратил внимания на эту заковыку – слово «откомандирован». А сотник Томлин, как и всякий казак, бумаг не терпевший, явно был доволен уже тем, что надоумился исхлопотать мне справку, ничуть не вникая, что же этакое там написал писарь. Писарь же, выходило, написал наивозможно мне необходимое. Я теперь снова причислялся к службе. Предвидеть подобного было просто невозможно. Я хватил в лег-

кие морозу и полетел на Механическую. Мои заступники Пресвятая Богородица, матушка и нянюшка опять испросили мне спасения.

– Они и этот разгильдяй сотник! – горячо подумал я о них.

Оказывается, должность начальника гарнизона была упразднена и заменена на коллегиальный орган – военный отдел при совете их депутатов еще в начале декабря прошлого года. Бывший начальник гарнизона полковник Марковец входил в этот военный отдел лишь с правом совещательного голоса. Совещательность заключалась в том, что его вызывали в отдел по вопросам консультации, где, что и каким образом он решал ту или иную задачу. Управлял же военным отделом прапорщик Сто восьмого запасного пехотного полка Селянин, при котором были два члена отдела.

Забегая вперед, скажу, что воинских частей в городе скопилось очень много. Серые шинели и солдатские папахи по улицам мельтешили гораздо чаще, чем обывательские одежды. Все здания общественного назначения были заняты под войска. Наша первая гимназия, обе женские гимназии, епархиальное училище, Богоявленское, Тургеневское, Малаховское училища, духовное ведомство, кинематографы, гостиницы, некоторые обывательские дома были отведены для расквартирования войск. А, например, театр Верхисетского завода был отведен для лагеря военнопленных. Число войск к моменту моего возвращения довольно успешно сокращалось. Но во всем было много путаницы, противоречивых приказов из округа, из Казани, где командование менялось, наверно, чаще, чем писарь успевал отнести написанный приказ о назначении. Побывал в этой должности и приснопамятный генерал Владимир Захарьевич Мышлаевский, некогда, в декабре четырнадцатого года взбудораживший Тифлис панической вестью о том, что турки ворвались в предместье – это в тот момент, когда брошенные им войска упорно сражались. Какое-то время командовал округом полковник Архипов, а потом, конечно, пошли прапорщики военного времени, то есть пока еще первый прапорщик – Ершов, и хорошо, что не Вичкин, Фричкин, Блюмкин. Приказов из округа было много. Были они не последовательны и, видимо, отражали полный развал управления. Все из войск жаждали скорее попасть домой. А приказы, только что объявившие определенным категориям старослужащих солдат или солдат определенных национальностей, например, тех же украинцев, об отпуске, через несколько дней объявляли о задержке или возвращении к месту службы. Следующие приказы объявляли о снятии уволенных в отпуск с довольствия. Их спешили обогнать приказы о постановке задержанных или возвращаемых на только что снятое довольствие. А пока проходили несколько дней, издавались приказы о сокращении кухонь, питательных пунктов, пекарен, бань, о передислокации частей в иное место, о слиянии в связи с сокращением личного состава одних частей с другими.

Все было в движении, но в движении не упорядоченном, а хаотическом. Тот же военный отдел через две недели с Механической был переведен на Уктусскую, на толкучий рынок, в помещение канцелярии Конского запаса, которая в свою очередь занимала помещения полицейской управы, и которая, в свою очередь, перебралась в помещение военного отдела. А, например, гарнизонные бани нашли возможным оборудовать на Хлебной площади, так что помойная вода из них ручьями текла в Исеть совсем недалеко от нас. То-то Иван Филиппович советовал мне сходить на реку помыться.

Одним словом, в отношении загаженности города я уже говорил, но каждый раз, оказываясь в каком-нибудь его уголке, я с болью и содроганием наблюдал эту загаженность. Хороший, красивый город, до которого не было сил дотянуться большинству губернских центров, превращался в некое исчадие.

А пока я пришел на Механическую улицу в дом с мощным каменным первым этажом, смахивающим на крепостной бастион. Второй этаж был деревянный, из лиственничных бревен и деревянной резьбой. Улица кипела солдатским народом еще с угла. С угла она была запружена коновязями, лошадьми, повозками, обильным и неприбранным конским навозом, про-

чим мусором. Туда и сюда сновали по ней и исчезали в доме прикомандированные, посыльные, вестовые. Откуда-то со двора тащили к повозкам громоздкие ящики, а навстречу им во двор тащили из других повозок другие и тоже громоздкие ящики. Часовых в этой суете заметить было трудно – и более не от того, что их поглощала суета. Они сами ничуть не походили на часовых, сидели на деревянной скамейке, курили и точили базары с постоянной вокруг них гурьбой солдат.

Я вошел во двор. Навстречу из дома выкатились двое беспогонных, обтерханных и чрезвычайно возбужденных служаки.

– Ну, вот, едри их в вошь! Где? Где они, я спрашиваю? – закричал один на другого. Я увидел на его рукаве мятую и грязную красную повязку.

– А что – с меня-то? Они уже какой день взяли за моду заступать без караульного развода! Я докладывал по команде тебе же, что не приходят, а то и вовсе не выходят в караул. Тебе же я докладывал! – закричал второй, без красной повязки.

– Когда ты мне докладывал? Врешь! Небось, Орлову докладывал, так я еще до сих пор не Орлов! – закричал первый.

– Я тоже не от кобылы родился! И ты из меня пенька на скотомогильнике не строй! Тебе подано, ты и соблюдай бумаги, а не пускай их на раскурку! Я на тебя в совет доложу! – закричал второй.

– А! – махнул первый так, что повязка у него полетела с руки.

Он ее подобрал, развернулся и покатился обратно в дом – А вы тут! – походя, но как-то с опаской пнул он винтовку одного из часовых.

– А ты не это! Ты не это! А то живо в это, в комитет! – не замедлил с ответом часовой.

– Ко-ко-комытэт! – не выдержал я отметить новый порядок.

И тут я увидел одноклассника Мишу Злоказова. Он шел в распахнутой шинели, без шапки и с бумагами в руках. На его физиономии сильная отрешенность от всего окружающего не могла пересилить всегдашнего его озабоченного выражения, будто он постоянно думал, а не выворотить ли крепкий и какой-то только характерный для Миши из кармана кукиш. Мы не виделись со дня моего отъезда в гарнизон после училищного отпуска. Я знал, что Миша в военной службе не был.

– Миша! – совершенно вне себя от радости схватил я его за рукав.

– Ты что тут делаешь? Ты почему в таком виде? – расцветая только глазами, стал он задавать, на мой взгляд, дурацкие вопросы и потащил меня в сторону.

– Да с фронта, Миша! И для прохождения дальнейшей службы! – стал отвечать я.

– Ну, это понятно, что с фронта! Я знаю! Но почему в виде какого-то малахая? Я же знаю, что ты... – хотел он, видимо, сказать обо мне то подлинное, что знал, но осекся. – Ты давно в городе? С документами все в порядке? – спросил он.

На миг я подумал о нем, что он служит в каком-то нынешнем сыском заведении – столь мне не понравился его вопрос. «Ты кто такой, чтобы так спрашивать!» – едва не закричал я, но сдержался и в кривой, презрительной усмешке подал ему справку.

– Почему так? – спросил о справке Миша и сам себе ответил. – Ладно. Это не важно. Расскажешь потом. Ты в службу – по ней?

– Ты спрашиваешь по делу или просто так? – спросил я, зная, что Миша никогда ни в какой военной службе не состоял, и полагая его вопрос праздным.

– Я здесь, – показал он на второй этаж. – Я писарь у начальника гарнизона, то есть председательствующего в военном отделе! Пойдем! И о своем настоящем чине, Боря, пока никому ни слова!

Через час я имел на руках выписку из приказа с обычной в таких случаях формулировкой «полагать такого-то военнотружашего, то есть меня, прикомандированным»... И прикомандированным я оказался с заступлением в должность бригадного инструктора траншейных

орудий и гранат к парку Четырнадцатого Сибирского стрелково-артиллерийского дивизиона, незадолго до меня прибывшего в город. Должность не соответствовала некоторому из моих чинов, ни чину прапорщика за его малостью, ни чину подполковника за его величиной. Но она мне тут же принесла авансовую выдачу в двести рублей оклада жалованья, что тоже не соответствовало – и дополнительно не соответствовало городской дороговизне на продукты. В утешение мне было сказано, что начальник парка получил на днях авансовую выдачу, немногим большую моей.

– А дровяные? – спросил я, несколько приобнаглев от такого счастья.

И вопрос мой имел смыслом то обстоятельство, что в той, нашей, еще государя-императора, армии в связи с падением стоимости рубля, то есть на так называемую дороговизну, полагались офицеру на отопление и приготовление пищи дровяные и на прокорм лошадей фуражные прибавки к жалованью, что в сумме у нас, в Персии, составляло две тысячи рублей, и соответствовали эти две тысячи примерно тремстам довоенным рублям. Их выдавали персидским серебром – по-персидски, манатами, а по-казачьи, как помнится, собаками, ибо казаки изображенного на монетах льва в насмешку приняли за собаку.

– А всякое офицерское пособие к содержанию на военную дороговизну отменено, господин хороший! – как бы с язвой ответил Миша и взглядом показал помалкивать.

Я и сам понял, что прапорщику военного времени, не состоящему ни в каких комитетах, следовало – как бы это сказать – быть поневежественней, что ли.

– Да-да! Непременно! То есть, как и положено! – замямлил я.

Миша и на это показал глазами молчать.

– Вот! – громко сказал Миша и подал мне еще один приказ. – Вот! Вам, как окончившему военное училище до первого мая семнадцатого, и согласно приказу из округа от вчерашнего дня, положен на замену один комплект обмундирования! О вас тут заботятся, понимаете, а вы тут нам что-то из области иллюзий – того! Все. Идите, товарищ военнослужащий!

Я пошел, он пошел следом, но якобы по своим делам, и в коридоре дал мне записку на имя заведующего гарнизонным магазином о разовой выдаче мне некоторых продуктов.

– Иди прямо сейчас. Говори, что от самого Крашенинникова, это наш адъютант, вот его подпись. Кое-что получишь из продуктов. К себе в парк пойдешь завтра. А сегодня, как все получишь, я жду тебя в гости. Сережка Фельштинский будет предупрежден и примчится на всех парах! – напутствовал он меня.

– Слушаюсь, господин писарь! – взял я под козырек.

Он, то ли не понял, то ли не принял шутки. Физиономия его снова напомнила мне, что его привычкой в гимназии было без особого разбора, кто перед ним, выворачивать из кармана крепкий и какой-то только ему свойственный кукиш. Я такой чести ни разу не был удостоен. Но другие имели возможность наблюдать этот кукиш довольно близко от своего носа.

– Откуда такая власть у тебя? – еще спросил я.

– Потом как-нибудь! – сказал он.

Уже стемнело, когда я с двумя сидорами – с обмундированием и продуктами – пришел домой. Иван Филиппович выкатился встречать меня во двор.

– Господи, обошлось? – выкрикнул он и в ожидании ответа раскорячился в герб России.

– Так точно, ваше сиятельство! – гаркнул я.

– Молчи, молчи, оллояр неземной! Молчи! Тут эти, прости, господи! – замахал он руками.

– Кто? – спросил я.

– Эти, разъязви их! – ткнул он рукой куда-то в сторону улицы, а потом в сторону дома.

– Неуж? – ничего не понял, но скорчил я рожу под сотника Томлина.

– Истинно! – понял он меня по-своему.

– Вот же едрическая сила! – снова под сотника Томлина сказал я.

– Не ходи! Айда у меня пересидишь! – попросил Иван Филиппович.

– Это нам с тобой для нашего чревоугодия! – скинул и подал я старику один сидор.

Он быком посмотрел на меня.

– Откуда? – глухо спросил он. Я не успел ответить, как он еще более глухо, совсем утробно выдохнул: – Неужто совето?

– Хуже, Иван Филиппович! – сказал я.

– Украдено принес? – тем же тоном спросил он.

– Да нет же. Все служебное. Я взят в военную службу! – перестал я ерничать.

– В совето? – снова и как бы даже с угрозой спросил он.

– В военную службу! – с нажимом и некоторой долей раздражения сказал я и вдруг спохватился.

Я спохватился на тот счет, что в пылу восторга от прекрасно устроенного моего положения я не дал себе отчета не только спросить, а и подумать о том, какая сейчас военная служба, та ли она, из которой меня уволили, или какая-то другая, сволочная, революционная. Иван Филиппович смотрел на меня в ожидании. Я признался, что не спросил про службу.

– А если совето, значит, антихристово, как вон эти! – показал на дом Иван Филиппович.

– Если совето, значит, мы не будем служить! – сказал я.

– Да тихо ты, Борис Алексеевич! Совсем ума лишился! Это тебе не в твоей артиллерии! Слыхом понесется в твоё совето! – зашипел Иван Филиппович.

Я приложил палец к губам, мол, молчу.

– Это исть погодим! – показал на сидор Иван Филиппович.

– Почему? – удивился я.

– А если совето? – в язве спросил он.

– Иван Филиппович! Командир отличается в строю не только тем, что может безнаказанно громче всех пустить ветры, но и тем, что может строю подать команду их не пускать! – рассердился и опустил я до солдатского фольклора.

– Понял! – действительно понял перебор в своем клерикальном рвении Иван Филиппович.

– Но кто все-таки там? Почему мне нельзя туда? – спросил я.

– Прозевал. Они прошли, а я прозевал. Все тебя высматривал, а тут бес попутал – прозевал. Но прошли и сидят тихо! Не ходи! У меня пересидим! – сказал Иван Филиппович.

Я отмахнулся и пошел к себе. Дом был гробово темен и тих. Я вошел в него и остановился, будто артиллерийская граната в казенной части. Дверь за мной пристукнула и как бы завершила впечатление. «Выстрел!» – сказал я себе и пошел наугад. Меня услышали. Из-под двери комнаты Ворзоновского брызнул свет лампы. Дверь открылась. Лампа высветила самого Ворзоновского и позадь него какую-то довольно встрепанного вида женщину, своей встрепанностью толкнувшего меня на мысль об их гнусном в темноте занятии.

– Имею честь! – с вызовом сказал Ворзоновский.

– Имейте на здоровье! – сказал я.

– Это, однако, немисливо, в какое щекотное положение вы нас ставите! – с прежним вызовом сказал Ворзоновский.

– Пошли вон! – сказал я и закрыл за собой дверь.

– Вот видите! Вот и в прошлом разе они так же! Это, однако, против всего! Они себе позволяют, как офицер прежнего царского времени! – закричал Ворзоновский на весь дом и, вероятно, уже обращаясь к своей встрепанного вида женщине, чуть сбавил тон: – А вы на них не влияете!

Я не расслышал ее ответа. Я услышал чернявого служащего продкома.

– А вы не позволяйте себе претензии на весь дом! – из своей, то есть бывшей моей комнаты крикнул он.

У меня родилось только одно слово: сволочи. Рубцы меня потянули влево. Я бросил сидор и шагнул к двери. Однако некогда отморозенные легкие не смогли схватить воздуха. Я сел на диванчик. За дверью Ворзоновский что-то кричал чернявому. Именно что он кричал, я не смог разобрать. Легкие никак не захватывали воздух. Я повалился навзничь. Я весь задержался в конвульсии. Воздух в меня не шел. Напротив, из меня пошел рык. Мне стало страшно, что я сейчас задохнусь. И мне стало мерзко, что я задохнусь, а эта сволочь Ворзоновский возликует. Омерзение ли, обыкновенный инстинкт ли – кто-то дал мне силы, а Господь надоумил упасть с диванчика на пол и не схватывать воздух, а как бы его из себя выталкивать, хотя он, кажется, и так шел из меня с рыком. После нескольких толчков я с протяжным стоном схватил маленькую и, как мне почувствовалось, какую-то кособоконую струйку. Она рыбкой нырнула в меня. Потом нырнула вторая, третья – я ожил. Я сел на диванчик. В радости, что я это могу, я стал глотать воздух – не дышать воздухом, а именно его глотать, как глотают воду. Радость тотчас стала перемежаться коротко возвращающимся страхом перед тем, что если бы вдруг я задохнулся. В этот миг я глотал воздух сторожко, с опаской, что натружу легкие, и они откажут. Миг проходил, и я снова хватал воздух большими глотками, гнал его, как мне казалось, в самые мои закоулки.

Я слышал за дверью ругань. Кричал Ворзоновский, кричали женщины, кричал чернявый жилец. Я различал отдельные фразы. Но я не понимал их смысла. Мне было превосходно от того, что я дышу. Это было главным. Чернявый жилец кричал: «Вы все за собственность! Ваша платформа в жизни захватить собственность! А мы против!» И я понимал, что это о нашем доме. Но я этого не впускал в себя. Мне главным было дышать. Дышать мне было счастьем, моим одиноким счастьем, против которого все остальное было ничем.

Я вспомнил горийского моего соседа по госпиталю Сергея Валериановича с ранением в легкое. Была весна. Дни чередой пошли теплые и солнечные. Духота палат стала невыносимой. И хотя ранение в легкое грозило Сергею Валериановичу осложнением, он попросил меня распахнуть окно и потом несмело, так же сторожко и с опаской, как я сейчас при коротко возвращающемся страхе, втягивал в себя ставшую для нас чужой законную свежесть. «Щекочет и как-то даже обжигает!» – виновато и пьяно сказал он. Сколько я помню, он был при этом в совершенном счастье. И я вспомнил драку с молодым князем, вернее, не драку, а то, как я, задыхающийся и с пошедшими наружу отморозенными моими легкими, узнал пальчики Ксенички Ивановны. Едва ли не в тот же день, когда мы открыли окно, я пошел гулять в город и нечаянно стал причиной столкновения с молодым представителем местного рода владетельных князей юнкером Амилахвари. Он хотел меня угостить плетью. Но я оказался проворней. В миг, когда я сбил его с ног, мои легкие мне отказали. Они в моем представлении пошли горлом. Я зарычал и переломился. У меня потекли слезы. И я не увидел, как рядом оказалась Ксеничка Ивановна. Я почувствовал, как кто-то бережно поддерживает меня и утирает мое лицо. Я узнал Ксеничку Ивановну по пальчикам. Ее пальчики были, пожалуй, единственными на всем белом свете, коралловые, чуткие, терпеливые, незаменимые. Тогда я оттолкнул ее – оттолкнул только с тем, чтобы она не видела моих безвольных и позорных слез.

Это воспоминание тоже было моим счастьем.

За дверью жильцы кричали.

– Ваша платформа – захватить собственность! – кричал чернявый служащий продкома.

– С вашим умозаключением я имею щекотное положение. А это мне влияет! – в ответ кричал Ворзоновский.

Мне же было счастьем дышать.

И еще я вспомнил – после того, как я оттолкнул Ксеничку Ивановну, я испугался за нее. Воздух ко мне наконец протолкнулся, и вместе что-то сильное вошло ко мне в грудь. Я понял, как было Ксеничке Ивановне счастливо в тот миг, когда она могла быть мне необходимой, и как ей будет одиноко через миг, когда она поймет, что ее необходимость для меня отпадет.

И совершенно невозможно объяснить, но так думая о Ксеничке Ивановне, я думал об Элспет, думал какой-то единой мыслью, охватывающей все остальное, как Бог охватывает всех нас, единым образом. Мысль эта окутывала все вокруг и растворялась во всем. Она была ощущимо рядом. И ее не было нигде. В третий раз я испытывал если не любовь, то страсть к женщине. И все три раза оставался в одиночестве. Я ловил себя на мысли, что я и тогда, в месопотамском саду год назад, сознавал, что все обернется только одним мигом. Но что мне было тогда до этого мига! Я был в этом миге. Я был растворен в нем.

С этим мигом, обессиленный удушьем, я заснул – не раздеваясь, прямо в шинели и сапогах, и счастливо ощущал себя на фронте, счастливо обманывал себя, что я на фронте, что все ушедшее мне только предстоит.

Утром явился патруль из двух мастеровых и одного, по виду, конторщика. Их привела вчерашняя встрепанная особа, оказавшаяся жиличкой нашего аптекаря Александра Константиновича Белова с Крестовоздвиженской улицы, та самая каторжанка Новикова. Мы с Иваном Филипповичем пили в каморке чай. Они спросили мои документы. Я видел, какое злобное разочарование постигло Новикову, когда патрульные вернули мои бумаги. Что-то волчье было в ее лице. Ей явно хотелось моей крови.

– Извиняйте, товарищ военнослужащий! Но – революционный террёрж! – сказал один мастеровой.

– Революционный террор, мазута! – гордо за знание революционного слова поправил его другой.

– Революционный террор – это необходимость порядка! – прошипела Новикова.

– Порядок там, где анархия! – сказал конторщик.

– Вот вы лучше тех арестуйте, которые гадят! – показал в сторону комнат с жильцами Иван Филиппович, а потом, по уходе патруля, сурово посмотрел на меня: – Борис Алексеевич, про армию-то узнай, а то, поди, совето!

Я криво усмехнулся. Часом назад, с пробуждением, я понял – места моему счастью осталось только в ночных грезах. Приход патруля подтвердил это. Но служба давала об этом не помнить. Я криво усмехнулся Ивану Филипповичу.

5

Миша Злоказов предупредил меня никому моего подлинного прошлого не показывать. Но стоило мне в парке дивизиона представиться его командиру из выборных военнослужащему Широкову, как присутствующий при этом некий военнослужащий Раздорский, оказавшийся подполковником прежней армии, сразу определил – никакой я не прапорщик военного времени. Он мне это сказал потом, наедине. Я на всякий случай молча пожал плечами.

Парк прибыл в Екатеринбург двумя-тремя днями раньше моего приезда, представлял собой вселенский хаос, усиленный тем, что все в парке знали о скором его расформировании и потому не считали нужным что-либо делать во упорядочение службы. Частью имущества парк оставался в вагонах на Екатеринбурге-втором. Частью имущества он перетащился под караул служивых парка на Сенную площадь. Боезапас был сдан в арсенал. И о том голова у командира Широкова, по его словам, уже не болела. Настоящей болью, по его же словам, оказывались сто шестьдесят лошадей парка. Парковый комитет предлагал Широкову в дороге продать лошадей. Широков воспротивился, полагая лошадей казенным имуществом, которое никакому самовольному использованию или распределению не подлежало. Чины артиллерии по их большей, чем в других частях, грамотности с дисциплиной расставались менее охотно. Потому комитет на своем предложении не настоял. И во всеобщем революционном порядке в стране такая приверженность дисциплине вышла, прямо сказать, преступлением. Лошадей кормили абы как, не чистили, не выводили из стойл и из вагонов. Все они были крайне истощены. Большая половина их заболела. В страхе перед ответственностью парковый ветеринарный фельдшер где-то по дороге отстал от эшелона. На меня и возложили задачу куда-то их передать.

По принадлежности парк и дивизион относились к артиллерийской бригаде с тем же номером, что и парк с дивизионом. А вот бригада могла быть придана любому из армейских корпусов, потом много раз переподчинена. Чтобы передать лошадей кому-либо в законном порядке, надо было соотнестись с ними. Но где они находились, куда катились в условиях революционного порядка, парк не знал.

По отсутствию в парке ветеринарного фельдшера я взял с собой заведующего хозяйством парка Лебедева, секретаря комитета Брюшкова и отправился на станцию.

Заглянув в первый же живой скотомогильник, то есть вагон, я только и смог сказать Лебедеву: «Нет на вас казаков!» – хотя летело на язык сказать: «Нет на вас Лавра Георгиевича!» – в том смысле, что летом прошлого года руководство армией взял на себя генерал Корнилов Лавр Георгиевич и одной из мер, предотвращающих развал армии, вернул в армию смертную казнь.

– А вы что, сами из казаков будете? – пропустил мимо ушей мой тон Лебедев.

Я смолчал.

– Лютый народец, я вам скажу! – сказал он.

– А по-иному с вами нельзя! – вспыхнул я.

– Не об нас толк! Я в четвертом годе в Маньчжурии видел их! – сказал Лебедев.

– И чего же они налютовали? – не отпуская тона, спросил я.

– А довелось видеть вырубленный ими, как говорили, за какую-то минуту японский полк.

Поле кровавого мяса! – сказал Лебедев.

– Где это было? – спросил я в мелькнувшей во мне надежде, что Лебедев скажет об отряде генерала Мищенко, в котором воевал брат Саша, и фото офицеров которого в рамке каслинского литья у нас стояло в гостиной.

– Да под Вафаньгоу! На всю жизнь запомнил. Знаете такое? – сказал Лебедев.

Я опять смолчал. По совести, таких взявшихся командовать новых господ следовало бы судить, а для начала хорошенько отвозить по мордам, чтобы голова у них болела подлинно. Я уже было свернулся в кулак, но вчерашний приступ удушья и остановился.

– Куда обращались? – спросил я.

– Так куда же! Широков, четверка, сходил к заведующему расквартированием, а что выходил, нам не докладывал. Да четверка он и есть четверка. Какой он командир! – сказал Лебедев.

– Ну, ты, это, того, а то как бы самому не обчетыриться! – вступился за революционную власть Брюшков.

– Сволочи! – сказал я и вдруг, потеряв себя, заорал, как какой-нибудь пехотный фельдфебель: – Да ты, морда! Да ты знаешь, что такое лошадь! Ты, сволочь, знаешь? – и уже понял, что ору не на тех, что вообще ору зря, впустую, но рубцы потянули, легкие опять захлебнулись. Я рыком погнал их вон из себя и сломился.

Приступ, слава Богу, тут же отпустил. Я вобрал в легкие воздуха, отер рукавом слезы и пошел прочь – только отметил, как же быстро я из офицера русской армии превратился в безродного, неизвестно чьей государственной принадлежности военнослужащего, ловко перехватившего повадки хамов оскорблять и терпеть оскорбления. «Совето!» – вспомнил я ненависть Ивана Филипповича.

– Что, газами травлен? – услышал я Лебедева.

И следом запоздало взъярился Брюшков.

– А ты, того, это, белая сволочь! Мы из тебя это, иху мать! – взвыл он.

Я не оглянулся. Моих привычных понятий о службе, о субординации, о движении дел по команде, то есть в строгом соответствии с уставом, обеспечивающим исполнение задачи, в этом революционном порядке явно не хватало. Куда пойти еще, я не знал. Я пошел к начальнику гарнизона, а вернее, к Мише Злоказову.

Он прежде всего спросил, почему я не пришел вчера. Я махнул рукой и сказал ему причину сегодняшнего прихода.

– Эшелон лошадей на путях и не разграблен? – изумился он.

– Дохлых лошадей! – скривился я.

– Никакой разницы! – отмахнулся он, и я по его глазам увидел, как в нем выиграла жилка потомственного заводчика.

– Так что? – спросил я.

– Подожди! Сейчас! – сказал он и через несколько времени вернулся из кабинета адъютанта гарнизона с бумагой. – Вот аллюром шпарь на Уктусскую в полицейскую управу. Не забыл, где? Рядом пожарная каланча. Там в управе сейчас располагается управление конского запаса. Его начальник по фамилии Майоранов. Сдашь своих саврасок ему. И вечером все-таки приходи, как договорились!

– Миша, может быть, это ты управляешь гарнизоном? – спросил я.

– Может быть! – фыркнул он и снова напомнил о вечере.

Идти по Покровскому проспекту или по Главному было одинаково. Я выбрал Главный, вышел на площадь перед Екатерининским собором, посмотрел на Нуровский сад по другую сторону проспекта, как в детстве, только мысленно, помолился на палаточную церковь Екатеринбургского мушкетерского полка, героя войны с Наполеоном, свернул на плотину и подивился малости и взрослости в тротуар гранильной фабрики, в детстве только от одного названия «императорская» казавшейся мне величественной. Фабрика еще при мне перестала работать. Но слово «императорская» было на фронте до сих пор. «Вот-вот!» – сказал я в смысле, что оба мы императорские, но оба бывшие императорские. Я, подобно Мише Злоказову, и опять только мысленно, свернул крепкий кукиш. Потом глянул вдоль стены, обрамляющей плотину на видневшийся впереди Кафедральный собор, горько усмехнулся, не увидев перед собором памятника императору Александру Второму и вдруг пожалел, что не остался в Оренбурге, не ушел с полковником Дутовым, выбитым из Оренбурга, загнанным куда-то в степи, но не покоренным. Несложная логическая цепочка от слова «степь» вопреки всем географическим расстояниям нарисовало мне Индию совсем рядом с той, воображаемой мной степью, где был

полковник Дутов. И я увидел себя в Индии, на пароходе, отходящем в Британию, к Элпет и еще к кому-то тому, кто уже был, кто мог быть назван, как угодно, хотя бы пятым Ди – в очередь с теми четверья Ди, которые мне встретились год назад в месопотамском местечке близ Багдада. Я сосчитал – ему уже должно было быть два месяца. И он прибавил желания оказаться у полковника Дутова, желания служить империи, а не – я не нашел слова, каким можно было бы назвать все то, что было вокруг меня.

Вечером я пришел к Мише в их дом стиля ампира на Офицерской улице. Я не удивился тому, что дом не был занят, как был занят наш дом. Писарь Миша был кем-то гораздо более, чем писарь при адъютанте нынешнего гарнизонного начальника. У Миши был только Сережа Фельштинский, наш одноклассник, как мне было сообщено в письме сестрой Машей, тяжело раненный в Галиции. Руки-ноги его, слава Богу, были целы. Но против того Сережи, которого я знал по классу, он был вял и малоподвижен. Мы сердечно обнялись.

– Вот так, Боря! – печально и протяжно, совсем не характерно для него, сказал он.

Я не знал, чем ответить на это, и невпопад напомнил наш спор об Андрии из «Тараса Бульбы». Мы все Андрия презирали. А Сережа считал его подлинным рыцарем, ради своей любви пошедшим против своих. Я спросил Сережу, помнит ли он спор. Он махнул рукой, но глаза его загорелись. Я подумал – вот сейчас снова возьмется меня убеждать в рыцарственной жертвенности Андрия. Он сказал совсем другое.

– Нет! – сказал он, угольно накаляясь взглядом. – Нет! Так больше хватит!

Я понял, что он говорил уже не об Андрии, но съерничал.

– С Андрием – хватит? – спросил я.

Он не принял тона.

– Ты читал? – обжег он меня взглядом. – Хотя нет! Ты появился в городе только что и читать этого не мог! Но ты слышал? Нет! Им надо дать отпор! Иначе они нас всех по пути в тюрьму перестреляют!

– Да скажи сначала ему, о чем ты витийствуешь, местный вития! – прервал его Миша.

Сережа привычно, как бывало в детстве, резко остановил себя, как если бы столкнулся с препятствием, пару секунд осмысливал новое свое положение перед этим препятствием, увидел его и сбавил во взгляде.

– Ах да! – сказал он, но тотчас запыхал угольным жаром. – Ты, конечно, не знал семью Ардашевых. У них дом около почтамта за Нуровским садом. Так одного из этих Ардашевых пятнадцатого числа застрелили просто так. Привязались, арестовали, повели в тюрьму и застрелили! И, чтобы оправдаться, нам объявили: пытался бежать! «Уральская жизнь» написала, сейчас процитирую... – Сережа вскинулся, опять напомнив себя в детстве, вот так же вскидывающегося, когда ему нужно было что-то вспомнить или выстроить в уме. – Сейчас вспомню! – сказал Сережа, но отчего-то вспомнить не мог, весь ушел в себя и опять, как в детстве, стал перебирать пальцы, будто ломать их и выворачивать. – Ах, черт! Да что же это! Сейчас! Проклятая память! Ее совсем отбило! – стал говорить он.

Я стал ждать. А Миша ждать не захотел.

– Ладно, Серж! Тебя не дождаться! – оборвал он Сережу и повернулся ко мне. – А суть дела такова! – и он стал рассказывать, что незадолго до моего приезда из Верхотурья был привезен в екатеринбургскую тюрьму тамошний председатель думы Ардашев. По пути в тюрьму он якобы пытался сбежать, но был застрелен. – Газета «Уральская жизнь» написала: «При попытке к бегству».

Слушавший его с нетерпеливым вниманием Сережа тотчас взорвался.

– Какая попытка к бегству! Какое бегство от матросов! Куда и зачем ему надо было бежать! Это все гнусные измышления! Да эти матросы просто сговорились его кокнуть! – запыхал он взором.

– Его вели в тюрьму не матросы, а верх-исетские дружинники! – перебил Миша.

– Но Хохряков-то – матрос! – возразил Сережа.

– А главный следователь Юровский – фотограф, фельдшер и жид! Так что с того? – опять возразил Миша.

– Но если его повели в тюрьму – это значит, что такое решение вынес председатель следственной комиссии Юровский! – как-то самому себе возражая, сказал Сережа.

– Ну, ты у нас известный логик! Если матрос Хохряков распорядился направить его в следственную комиссию, значит, убили матросы. А если следователь Юровский распорядился направить его в тюрьму, значит, следователи не убивали! – фыркнул Миша.

– Но ведь явно не было никакой попытки к бегству! Явно беднягу Ардашева просто зверски убили! – вскричал Сережа.

Миша посмотрел на меня и как бы развел руками.

– Вот и поговори с ним! – сказал он мне и опять обернулся к Сереже. – Ну а мы о чем? – спросил он. – Мы-то, господин логик, о чем? Мы тебе и говорим, что его кокнули. Но кокнули верх-исетские бандиты, а не какие-то твои матросы!

– Да, но... – что-то хотел сказать Сережа.

– В общем, так! – не стал слушать его Миша, опять обернувшись ко мне. – Этот Ардашев был председателем Верхотурской думы. Его там арестовали и привезли сюда. Здесь у нас правит бал для таких арестованных матрос Паша Хохряков, скотина еще та. Тут Сережа прав. – Сережа при этом, как мальчишка, не смог сдержать удовлетворения. – Сережа прав, что эта скотина вполне мог дать негласную команду кокнуть беднягу, а потом сказать, что виноват он сам. Эту команду верх-исетские и исполнили. Вот и весь сыр-бор, как говорится!

– Но ведь они же всем отказали в разбирательстве дела! – вскричал Сережа. – Им же эсеры и другие предъявили требование расследовать, а этот подлец Голощекин... – Миша здесь мне пояснил, что названный господин являлся местным заправилкой власти с титулом начальствующего в том самом, по выражению Ивана Филипповича, совете. – А он нагло заявил, – продолжил Сережа, – что расследование уже проведено, бедняга Ардашев пытался бежать! Но это наглая ложь!.. И почему они себе все позволяют? Почему никто им не может дать отпор?

– Ну, пойдя, дай им отпор! – сказал Миша.

– Но ведь Оренбург дал отпор! Нашелся Александр Ильич Дутов! И если бы здесь не какали в штаны, а восстали, как восстали оренбуржцы, тогда бы какали в штаны все эти узурпаторы! – стал пылать уже не взглядом, а взором Сережа.

– Так что же ты сидишь? Пойди и восстань! – сказал Миша.

– Почему этого не сделают офицеры? – хлопнул небольшим своим кулачком по колену Сережа.

– Вот так с ним каждый раз, когда встретимся! Как только учредительное собрание разогнали, так он прямо взбесился! Переворот в октябре стерпел, только все в календаре дни черным вымарывал. Вымарает, ручки потрет и обязательно скажет: «Вот вам еще на один день меньше осталось!» – А как учредительное собрание взашей разогнали, так он по-настоящему сдурел! – будто не замечая Сережи, пожаловался мне Миша.

А Сережа опять с мальчишеским интересом слушал, как если бы Миша говорил не о нем, а о ком-то другом, о чрезвычайно интересном Сереже человеку.

– Поглядите на него! – увидел этот интерес и будто бы осудил его Миша. – Борька после стольких лет неизвестно где болтания наконец объявился живой, а он каким-то отпором бредит! Ты, Фельштинский, хотя бы ради приличия спросил Борьку о чем-нибудь! Он, в отличие от тебя, кое-что повидал, в самой Персии воевал, с шахом персидским на одном ковре сиживал, шербета немеряно выхлебал, и персидских красавиц на коленях держал!

Сережа от его слов захлебнулся. Он не был ни эгоистом, ни невнимательным человеком. Он просто был увлекающейся натурой. Предмет увлечения забирал его полностью. В то время, когда он был в плену своего увлечения, места ни для кого в нем не оставалось. Он был свое-

образно цельной натурой – и потому только с оговоркой «своеобразно», что безоговорочной цельности мешал довольно большой разброс его увлечений. И он был исключительной честности человек. Трудно было отыскать человека, менее всего пригодного к военной службе, чем Сережа. Но он увлекся, он посчитал нечестным во время войны не служить. Он ушел вольноопределяющимся и воевал, получил тяжелое ранение, стал кавалером солдатского Георгия. Сейчас он увлекся восстановлением справедливости, возмездия, или чего там еще в отношении убийц верхотурского председателя думы, и я слушал его, потому что бесполезно было пытаться отвлечь его. Миша тоже знал о бесполезности своих усилий. Все трое, мы были разными. И в классе друзьями мы не были. Дружба обнаружилась в первый мой приезд в отпуск из училища. То, что в классе мне в них казалось чужим, вдруг в то лето высветилось иначе. Сын богатого заводчика Миша, сын крещеного еврея-аптекаря Сережа и я, сын столбового дворянина, оказались соединенными воедино. Правда, было это недолго – только в то лето и в следующий мой приезд. А потом меня затянули служба и академия. Потом пришла война. Но сейчас я ощущал, что единение никуда не подевалось. Прошло десять лет, а единение не прошло. Сейчас я видел – Мише надо было о чем-то со мной поговорить. Но Сережа поговорить не давал. Можно было бы сказать: «Сережа, хватит! Нам надо поговорить!» – Сережа бы понял и не обиделся. Он бы стал говорить, почему его не остановили раньше. Но сам он остановиться не мог и увидеть, что нам надо поговорить, он не мог.

Я не стал ждать, пока Сережа отойдет от прихлынувшего от укора Миши стыда. Я спросил, как себя Сережа чувствует после ранения.

– Да вот лысею! – в совершенно серьезной печали сказал Сережа.

И опять между ним и Мишей вышла перепалка.

– Он лысеет! – воскликнул Миша. – Борис, он свято верит, что лысеть начал после ранения, то есть в связи с ранением. Я его спрашиваю: тебя, что, по башке снарядом, как наждаком, проширкало. Он мне: нет, но после госпиталя я стал чувствовать, что лысею. – Да ты, Фельштинский, на своих соплеменников-то хоть когда-нибудь глядел? Много среди них кудреговых в твои-то года? Пора наступила, брат Пушкин, пора лысеть! Лысения пора, очей очарование!

– Но ведь я кудреговым и не был. У меня всегда была хорошая волнистая и светлая шевелюра! – возразил Сережа.

– И что? – спросил Миша.

– А теперь, после госпиталя, я стал чувствовать, что лысею! – сказал Сережа.

– Может быть, там тебе башку чем-нибудь намазали в надежде, что поумнеешь, но у них не вышло! – сказал Миша.

– Так вот я же об этом и говорю! – возмутился Сережа, явно имея в виду не то, что ему в госпитале голову чем-то намазали, а то, что чувствовать он свое облысение начал после госпиталя.

– А Борька тебя спрашивает, как ты себя чувствуешь после ранения! – сказал Миша.

– Ну, что, Боря, после ранения, – уныло стал говорить Сережа. – После ранения я чувствую себя развалиной. На барышень смотрю без страсти, просто статистически. Ноги у меня едва волочатся. Голова, как у спящей курицы, падает на бок. Памяти никакой нет. Вот хотел процитировать эту несчастную газетенку «Уральскую жизнь», а вспомнить не могу. Пальцы на руках я стал чувствовать распухшими. Они на самом деле не распухшие. Но у меня такое ощущение, что они распухшие. Мне теперь что-нибудь написать совершенно неприятно – получаются какие-то каракули. Да много чего стало хуже после ранения! Башка вот лысеет!

– Так зато вшей не будет, и сулемой посыпать не надо! – сказал Миша.

– Как остроумно! – успел сказать Сережа и вдруг стукнул своим маленьким кулаком о колено: – Но это им так не пройдет! Мы и с такими пальцами, и с такой лысой головой их достанем! Постигнет их кара восставшего народа!

– Постигнет! С лысой-то головы мы их непременно достанем! – сказал Миша.

– Достанем! – не замечая ерничества Миши, вновь запыхавшись взором Сережа. – Александр Ильич Дутов, мой командир, первым восстал. И это ничего не значит, что у него не получилось!

– Твой боевой командир? Ты, Сережа, воевал у него? – изумился я.

– Еще какой боевой, Боря! – гордо вскинулся Сережа. – Еще какой боевой и еще какой интеллигентный! Он преподавал в Оренбургском казачьем училище, был действительным членом ученой архивной комиссии, искал материалы по пребыванию Пушкина в Оренбургском крае и ушел в действующую армию, как и я, по собственной воле!

– Да, Сережа, но... – хотел я спросить, как же Сережа оказался под его командованием.

– Ты хочешь спросить, как казачий штаб-офицер Дутов и смердячий пес Фельштинский оказались вместе? – не дал мне сказать Сережа. – Так я же никому не был нужен! Меня отовсюду гнали уже через час после того, как я приходил. Я хотел служить. Я все уставы выучил так, как ревностная монашка «Отче наш» не знает! Я иду, думаю, почему же меня отовсюду гонят. Слышу, кто-то кого-то зовет: «Вольноопределяющийся!» – Я иду и думаю, какое мне дело до того горемычного вольноопределяющегося, который кому-то потребовался. Снова слышу: «Вольноопределяющийся, ко мне!» – Ну, думаю, сейчас тебе будет возможность вольно определиться. И вдруг до меня с трудом доходит: «Да это же меня требуют!» – Смотрю, стоит казачий подполковник и в свою очередь смотрит на меня. Я строевым шагом, правда, с правой ноги и с одновременным отмахом правой руки подошел и спрашиваю: «Вы это ко мне обращаетесь, ваше превосходительство?» – Ты, Миша, не служил. Ты не знаешь. А Борис знает, какой курбет я выкинул.

– Как это не знаю! – обиделся Миша.

– Ну что ты в своем несчастном военном отделе делаешь! Это разве служба! – с легким превосходством выпрямился в спине Сережа. – Вот у нас была служба. Я спрашиваю: «Вы это ко мне обращаетесь, ваше превосходительство? Можете располагать мной по вашей надобности!» – и опять до меня с трудом и запозданием доходит: какое ваше превосходительство! Какое располагать по надобности! Какое ко мне или не ко мне! – Ведь за все это по морде получить будет совершенно справедливо и еще обрадоваться, что так хорошо только мордой все обошлось! Ведь подполковник – это всего лишь высокоблагородие, а не превосходительство! – Сережа опять в легком превосходстве посмотрел на Мишу. – Это я для тебя объясняю. Ты не знаешь, Миша, что твой несчастный прапорщик Селянин и его адъютант поручик Крашенинников даже до высокоблагородия не дотянули! – и, не дожидаясь ответа, Сережа повернулся ко мне. – Я чуть в штаны не наложил! Матерь Божья! Ведь сейчас упечет! А он совершенно спокойно: «Вы, вольноопределяющийся, какого полку, кто ваш командир?» – А я ему точно так же, как и до того: «Да что, ваше превосходительство! Я служить Отечеству хочу. А меня отовсюду гонят!» – «Как же вы служить Отечеству собрались, если вы даже уставы выучить не потрудились?» – спрашивает он. – «Я все уставы знаю прекрасно, потому что я хочу служить Отечеству! Но никто этого не хочет понять! Вы поставьте мне конкретное дело, а не так, что, как попка, так точно, так точно! Конкретное дело! Все должно быть конкретно, как учил Александр Васильевич Суворов!» – отвечаю. Он посмотрел на меня. А у меня складки шинели под ремнем не сзади собраны, как положено, а почему-то все спереди, как будто спереди у меня не брюхо, а спина. – «И что же вы конкретно, как Александр Васильевич Суворов, умеете сделать?» – спрашивает. – Писать грамотно и красиво можете? Пишущей машинкой владеете?» – «Так точно! Конечно!» – обрадовался я. – Пишущей машинкой я одним пальцем могу! А писать грамотно и красиво – за один присест школьную тетрадь испишу без помарок!» – Так я оказался писарем отдельного стрелкового дивизиона, и с третьего апреля шестнадцатого года мы в составе Третьего корпуса графа Федора Артуровича Келлера участвовали в боях. А двадцать восьмого мая в ночном бою мы переправлялись через реку Прут на конях в седлах по пояс в воде. Я дивизионный журнал привязал ремешком к голове, чтобы не замочить. По нам били артиллерия и пулеметы. Мне волной забило ухо. Вот ухо! – Сережа довольно-

таки безжалостно несколько раз ударил себя по ушной раковине. – Вот, теперь я все время проверяю, на месте оно у меня, или его уже нет! Ухо мне забило. А я переживал только, чтобы не замочило журнал. Ну, так ведь же замочило, и чернила поплыли! И я потом на берегу под огнем стал восстанавливать все записи. Мы взяли их окопы и двое суток удерживали до появления нашей смены. Меня и Александра Ильича накрыло одним снарядом на следующий день двадцать девятого мая. Его сильно контузило. А меня ранило в четырех местах, в том числе и в известное место в тыльной части тулова. Мы оба не ушли из окопов. Я был Александром Ильичом представлен к знаку ордена Святого Георгия!.. Борис, посмотри, ухо у меня есть?...

Вечер прошел. Мы отужинали. Но поговорить с Мишей, как того он хотел, не удалось.

– При Фельштинском никакого дела не сделаешь! – сказал он тихо в прихожей, пока Сережа был занят галошами на валенки, то ли тугими, то ли не в размер малыши.

– Потом, завтра поговорим, – успокоил я Мишу.

Мы разошлись. Сереже надо было на Васенцовскую. А я пошел на набережную, которая, как мне показалось, была более светлой от снежного пространства пруда. Этой светлой набережной я вышел к Екатерининскому собору и, чтобы не углубляться в улицу Механическую с ее загаженностью и расхристанной солдатней, вернее, бывшей солдатней, бывшими солдатами, а теперь этими безликими военнослужащими. Я свернул на плотину, к нашей гимназии, потом на Уктусскую, перешел Покровский с его двумя Златоустами – Большим и Малым – пошел, как некогда хаживал в гимназию, только в обратном направлении, к Хлебной площади. И там мне должно было свернуть к мосту на нашу Вторую Береговую. Но кто-то толкнул меня идти дальше, мимо солдатских бань, прошу прощения, мимо бань для военнослужащих, к Сибирской. Странно, на всем протяжении я не встретил ни патрулей, ни тех, кем пугали, что шлепнут, ни тем более прохожих обывателей. Не такое уж было позднее время, чтобы городу было быть пустым. Однако же, мне так повезло, что он был пуст – конечно, если не считать куражливого топтания и гогота солдатни перед Мытным двором, где располагалась казарма одного из запасных полков, да толкотни возле бань.

Я шел мимо сплошного ряда особняков и магазинов, так сказать, лучших граждан города, мимо домов Телегина, Рязанова, Яковлева, Соснина, Сырейщикова, Погорельцевой – во всяком случае, они здесь жили в моем детстве, и нянюшка водила меня смотреть их дома. Я был недоволен разницей нашего дома и их домов и спрашивал, что такое они сделали, что их дома были неизмеримо лучше нашего. «Купцы они, торгуют, откупа на что-нибудь берут – вот и богатые!» – отвечала нянюшка. – «Они батюшке-императору служат, как служит мой папа?» – спрашивал я. нянюшка нехотя признавала, что не служат. Мне казалось, что она тоже была недовольна разницей. – «Так надо написать письмо батюшке-императору, что не служат, а дома у них большие!» – предлагал я. – «Вырастешь и напишешь!» – уклонялась от разговора нянюшка. Ее ответом я тоже был недоволен, ибо, когда я вырасту, было неизвестно, а справедливость надо было восстанавливать нынче же. Сейчас я шел мимо этих домов, и у меня из головы не выходил страстный вопрос Сережи, почему никто не встал, никто не сказал ни слова, не говоря уж о деле, почему никто не выступил в защиту прежней, тысячу летami установленной жизни. Вопрос был без ответа. Ответ тотчас исчезал, как только я спрашивал, почему не встал я.

Я прошел мост через Исеть, прошел мимо Рязановских усадеб, уже других Рязановских усадеб, называемых обывателями большой и малой, и, возможно, к тому Рязанову никакого отношения не имеющих и расположенных с непонятной своеобразностью большой и более богатой усадьбы в логу, а малой более скромной – как бы над нею, на взгорке. Обе они были сейчас темны окнами, будто даже затаенно и озлобленно темны. Я прошел мимо них, не сворачивая на свою улицу, и едва свернул на Разгуляевскую, к столетнему юбилею Николая Васильевича Гоголя названную его именем, как меня от одного из дворов окликнула женщина. Полагая, что она нуждается в какой-то помощи, я остановился.

– Солдатик! Остановитесь на минутку, будьте добры! – снова окликнула она.

Голос был молод, несмел и прерывист. И голос был чрезвычайно усталый, какой-то безнадёжный.

«Не я один такой!» – подумал я и откликнулся.

– Я слушаю вас! – сказал я.

Женщина порывисто вышла из ворот и остановилась, кажется, остановилась в испуге от своей порывистости. Снег хорошо отсвечивал. И можно было увидеть, что женщина была молода, невысока и была не по морозу одета. У нее не было даже муфты, и руки она грела в рукавах короткой кашевейки. Старая и, как мне подумалось, побитая молью шаль была повязана поверх кашевейки неумело, горбом, сразу мне напомнив баб в шалих на разъезде Марамзино, где сотник Томлин сошел с поезда.

– Простите. Вы не солдатик! – в испуге попятилась во двор женщина.

– Я слушаю, слушаю вас, сударыня! – с нажимом сказал я.

– Да нет! Простите! Я вас приняла за другого! Простите же! – прерывисто сказала она.

Я пожал плечами и пошел себе. Я прошел несколько шагов, как услышал женщину снова.

– Сударь! Прошу вас! – в отчаянии крикнула она.

Я остановился. Она в прежней порывистости подошла, остановилась боком ко мне, готовая вновь податься во двор.

– Простите! Вам не надо?... Я не смею этого сказать! Вам, ну, вы догадываетесь! Я могла бы за небольшое количество продуктов! Совсем за небольшое! У меня голодные дети! – едва не со стоном сказала она, пряча лицо.

«Боже, какая глупость! Кого же ты найдешь, коли торчишь у себя во дворе! – в странном негодовании прошило меня, а следующий шов уже вышил во мне стыд, жалость и еще что-то картиночное, вспышкой нарисовавшее то, как это у нас бы произошло. – За продукты. За небольшое количество продуктов! У нее голодные дети!» – прошило меня. Я закашлялся. Женщина, будто опомнилась и снова попятилась обратно к воротам.

– Подождите, сударыня! – сквозь кашель сказал я.

– Нет, нет, что вы! – выбросила она перед собой руки.

– Вот что! – как в бою, не столько нашел я, сколько ко мне быстро само пришло решение. – Берите детей и идите ко мне. Я накормлю. С собой у меня ничего нет. А дома есть. Это здесь, недалеко! – приказал я.

– Нет, простите! Я не имела права! У нас всего в достатке! – продолжала она пятиться к воротам.

– Ну, уж вздор! – рассердился я.

– Простите! Сейчас придет мой муж с продуктами! Я ждала его! Я вас приняла за моего мужа! – в отчаянии стала она молотить явную белиберду.

– Вздор! – резко шагнул я к ней и взял за локоть. – Вздор, сударыня. Ведите меня к детям! Она обмякла. Я схватил ее подмышки. Голова ее безвольно ткнулась мне в плечо.

– Ради Христа! Возьмите меня – только дайте немного продуктов! – выдохнула она.

– Ведите меня к детям! – продолжил приказывать я и повел ее во двор.

Перед крыльцом дома она остановилась.

– Вам нельзя заходить. Хозяйка меня за это выгонит! Я сама! – попыталась она высвободиться.

– Вы уйдете и не вернетесь! Ведите! – подтолкнул я ее за локоть.

В темных сенях мы наткнулись на какие-то ведра, что-то рассыпали. Я, шаря по стене, смахнул корыто. На грохот с лампой вышла хозяйка, вопреки обычному представлению о хозяйках как о старых каргах, сравнительно молодая женщина не лишенная красоты.

– А, это ты! Привела? – ткнула она лампой в мою знакомую, повела лампой на меня и жеманно передернула плечами, упрятанными в пуховую шаль. – Проходите! Мы вам не помешаем!

– Нет! Все не так! Это не то, что вы думаете! – в бессилии вскричала моя новая знакомая.

– Да хватит ломаться, душка! – мимоходом сказала ей хозяйка и снова пригласила меня войти.

– Мы, собственно, взять детей! У меня дома есть чем их покормить! – сказал я.

– Детей? Каких детей? – удивилась хозяйка и снова ткнула лампой в мою новую знакомую. – Ты что господину солдату наврала, душка?

– Ах, оставьте! Я ничего не знаю! – в прежнем бессилии вскричала моя новая знакомая и попыталась протиснуться в дверь.

Хозяйка толкнула ее обратно.

– А нет, душка! Ты заплати за постой, а потом сваливай с жилья! Ловко у них получается! Жить живут! Кипятком пользуются! А как платить, так: «Простите, нечем!» – закричала она и вновь лампой повела на меня: – Проходите! Мы с мужем вам не помешаем! И не церемоньтесь с ней! Я вижу, вы из благородных. Они таких живо манежить научились! Они вас за фетюха признают, оплату выудят, а сами так запутают, что хоть в актриски их принимай в оперу! Выловчат, что и не заметите! А я ее в содержанках иметь не нанималась! Ишь, дети у нее! Если и есть дети у нее, я сроду родов никого не видывала! А дети, так набольше иди на промыслы!

Я обо всем догадался.

– Мадам! – сказал я хозяйке. – Пропустите ее собрать вещи. Я ее забираю. Оплату я принесу завтра!

– Нет! Пожалуйста! – вскричала моя новая знакомая.

– Как это – завтра! – вскинулась хозяйка. – Да я вижу, вы тоже благородного только, как из оперы, в свое удовольствие упражняетесь! Так я вам и поверила теперь! Есть чем заплатить, вот и проходите и пользуйтесь. А нет – она пойдет искать другого! Буржуйка! Все бы у окошечка сидела да книжечки почитывала! Нет, душка! Пойдешь нынче же!

– Тогда так! – обозлился я. – Вещи ее остаются до завтра. Если что-то пропадет, я приведу на постой солдат! – и силой повел мою новую знакомую вон.

– Да всех ее вещей – только нестиранное исподнее да какие-то книжечки! Солдатами они мне грозят! Да я целую роту сама через себя с нашим желаньем пропущу, не засмущаюсь! А не смогу сама, так товарок позову! Напугали! – крикнула в спину хозяйка и хлопнула дверью, но тотчас открыла снова. – А за книжечки я вот в участок или совсем в совет пойду! Небось, так против власти книжечки-то! – прокричала она и снова хлопнула дверью.

6

Кажется, моя новая знакомая смирилась. Мы шли молча. Ко мне привязался рассказ одного из охранников поезда, в котором мы ехали, и который вез продукты из Ташкента в Оренбург в обмен на молодых девушек для публичных домов. Охранник был из бухарцев. И то ли он был сострадательный по природе, то ли его разжалобил мой вид последнего доходяги, то ли я просто чем-то оказался ему симпатичным. Он благорасположился ко мне, бесконечно на смеси бухарского и русского рассказывал свою жизнь, иногда подкармливал нас сухарями или лепешкой с чаем. Говорил он очень нудно. От его нудоты хотелось избавиться, тем более что меня и без него постоянно одолевал сон. Я ни о чем не думал. Я только ехал и ехал. Мне казалось, я ехал в бесконечной пустоте, в которой приехать куда-то просто было невозможно. Однако я терпел бухарца и, сколько мог, изображал радушие при его появлении, изображал внимательного слушателя – только думал, что попадись такой проводник тем исследователям, которые занимались этим краем, они дружно завернули бы обратно и избрали бы иное поприще для своих исследований.

– Ие! Везем ашайку Оренбургу! – с занудным вздохом как-то начал он в очередной раз свое повествование. – Оренбургам ашайку даем, мало-мало гуляем, молодой девишка русским, татаркам получаем, обратно везем, деньга и ашайка получаем. Я идем одна публичный дом. Там есть хорошим татаркам, богатым. Я его опять просим замужем. Она меня опять говорим ек, нет, не пойдем. Плохо так живем. Кредитным живем, а татаркам замужем не получаем!

В кои-то веки слова его меня заинтересовали. Я встряхнулся.

– Что же? Почему? Разве мало других женщин, не проституток? – спросил я.

– Ие! – сказал он и рассказал мне следующее.

Оказывается, в обычае публичных домов было и такое, когда какая-нибудь его обитательница выбирала себе посетителя по душе и всеми силами старалась сделать так, чтобы и он приходил только к ней. Если это складывалось, то посетитель пользовался сей избирательницей бесплатно и во всякое время. Такой посетитель назывался или любовником, или кредитным. Сия избирательница могла с ним отправиться гулять куда-нибудь на сторону и могла гулять с ним, пока у того хватало средств. Она могла в отсутствие его средств прогулять и свои. Это как бы была своего рода семья. Все в это время могло быть у них пополам. Но отличались таким обычаем только русские обитательницы публичных домов и ни в коем случае не магометанки, которых бухарец называл татарками. Русская при этом о подлинном замужестве ничуть не помышляла, верно, помня слова первого послания апостола Павла к коринфянам о том, что жена есть слава мужа. А какую славу может составить проститутка своему мужу в православном обществе! Иное, по словам бухарца, было у приверженцев пророка Магомета. Хоть и сказано в том же послании апостола Павла, что обрезание ничто, и необрезание ничто, но магометанин оказывался иного обычая. Прежде всего, он оказывался чрезвычайно скуп и бессовестно торговался за каждую копейку при уплате, а то и норовил обсчитать. Подарков никаких он не приносил. Будучи пьян, он мог одарить свою партнершу по удовольствию кулаком, обозвать ее грязным словом. Естественно, что русского посетителя с большим, так сказать, удовольствием принимали и магометанки. Но, в отличие от своих русских товарок по промыслу, магометанки были чрезвычайно бережливы, а потому не в сравнение богаче. Они копили на будущую жизнь, говоря: «Богатую возьмет замуж каждый!» – имея в виду своих сородичей по вере. И бухарец рассказывал много случаев, когда магометанка из публичного дома с почестями выходила замуж. Иная вера – иные обычаи, или, поминая в третий раз апостола Павла, все в заповедях Божиих. Тот же бухарец с вождением, хотя и занудным, почитал за счастье ждать, когда его гурия даст ему свое согласие. «Ай, хорош татаркам. Ай, богат татаркам!» – обсасывал он свои пальцы.

Вот такие знания почерпнул я от своего дорожного закадыки, не на шутку рассердившегося на сотника Томлина, без стеснения заржавшего на его рассказ. Бухарец почернел и без того черным лицом, вздул ноздри, сабельно ударил его взглядом и изрек, как пригвоздил:

– Улыбкам смотрим, гумнам такая! – имея в виду не гумно, место для молотьбы хлеба, а созвучное обиходное слово.

Мне стоило трудов успокоить его, говоря, что сотник Томлин ржал от радости за бухарца, за его счастливое будущее.

Это я вспомнил, пока мы шли с моей новой знакомой. Чтобы прервать не совсем уместное по отношению к новой моей знакомой воспоминание, я представился ей подлинным моим состоянием, то есть подполковником прежней армии. Шедшая до того покорно, словно бы смирившаяся с неизбежностью обрести хотя бы на ночь кров потерей чести, она от моих слов рванулась в сторону. Она рванулась с такой силой, что я, крепко держащий ее под руку, вместе с ней свалился в сугроб.

– Дура! – совершенно по-солдатски вскричал я.

Она же, видно, в переживании своего представления о предстоящей ночи, заплакала. Я вынул ее от сугроба. Боясь усугубить положение, я не стал ее отряхивать, а дал свои двупалые солдатские рукавицы. Мы снова молча пошли. И меня снова и раз, и другой пронзила та первая стыдная мысль о том, как бы у нас все вышло. Совершенно независимо от меня мне приплыла женщина-солдатка в лугах над Белой в пору моего юнкерства, сделавшая меня мужчиной. То есть совершенно независимо от меня я охватился чувством власти над моей спутницей, какую власть надо мной, вернее, над моим организмом получила та солдатка. «Нет, я русский офицер!» – не веря себе, то есть не преодолевая чувства, сказал я. И я стал молить, чтобы скорее мы вышли к нашему дому, чтобы Иван Филиппович не спал.

Увидев нас вдвоем, Иван Филиппович в третий раз явил своей фигурой герб Российской империи.

– Ваше высокоблагородие! А с двумя вы прийти не могли? – в оскорбленном целомудрии спросил он.

– Для вас, ваше превосходительство? – спросил я.

Он молча и сухо сплюнул.

– Иван Филиппович, а не забываешься ли ты? – разозлился я.

– Не забываюсь! – резко ответил он. – Далеко не забываюсь! Где уж нам забываться! А вот только покойные ваши родители почтения-то к Ивану Филипповичу испытывали больше!

– А вот почтенный Иван Филиппович покойным моим родителям характера своего выказывал меньше! – парировал я.

Иван Филиппович скривил брови, собрал губы в пучок, всторчал сталью щетины на щеках. Однако ответа при всем этом не нашел, а только опять сухо сплюнул.

– Тьфу на тебя, оллора несметного! – сказал он и тотчас сменил роль, видно, засовестился. – Пожалуйте, барышня! – состряпал он любезную физиономию.

– И ты бы нам всем, Иван Филиппович, соорудил чайку! – вспомнил я незабвенного моего друга есаула Василия Даниловича Гамалия, командира Георгиевской сотни, получившей это почетное наименование за подвиг в мае шестнадцатого года.

– Пойду я от тебя, Борис Алексеевич, в пролетарии. Может, против тебя мне в совете какую должность дадут. Тогда ты у меня... – начал собирать самовар и заворчал Иван Филиппович. Заворчал и остановился, забежав взглядом мне за спину.

Я оглянулся. Моя новая знакомая, присев на краешек стула, спала.

– Замерзающую подобрал! – прошептал я.

– Вижу! – тоже прошептал Иван Филиппович.

Мы сели за стол друг против друга и долго, слушая зашумевший самовар, смотрели то на пламя лампы, из-за экономии керосина вкрученное в горелку до предела, то оглядывались на новую мою знакомую. Будить ее никто из нас не решался.

– Кто она? Каких будет? – наконец спросил Иван Филиппович.

– Не знаю! – сказал я.

– А если воровка да ночью подельникам дверь откроет? – посуровел Иван Филиппович.

– Тогда я буду нападать с фронта, а ты зайдешь во фланг! – сказал я диспозицию на этот случай.

– Только бы скалился, как нищий на полушку! – обиделся Иван Филиппович.

– Ну, какая воровка! Она во дворе своей хозяйки замерзала! Та ее на определенный промысел выгнала! – возразил я Ивану Филипповичу.

– А если подосланная! – сказал Иван Филиппович и, увидев мою усмешку, обиделся еще больше. – Вот ты, Борис Алексеевич, пришел в солдатской шинелишке и с худым сидорком за плечишком. А дом-то, а добро-то в доме твои родители да твоя сестра с мужем наживали. И я к этому всему приставлен. Так что мне загода и наперед смотреть ох как надо! – сказал он.

– Хорошо, Иван Филиппович, прости! – устыдился я.

– Оно, конечно, видно, что из порядочных, но хоть бы имя спросил, – тоже уступил Иван Филиппович.

Поспел самовар, а моя новая знакомая не просыпалась. Пришлось ее будить. Она встрепенулась, но даже со сна посмотрела на нас устало и тотчас схватилась было с места к двери.

– Барышня! Да что же вы... – загородил я дверь и хотел сказать о ней, как о набитой дуре, но сдержался и приказал мыть руки, садиться за стол. – Кстати! – вспомнил я. – Кстати, я вам представился еще по дороге сюда, а вы не ответили!

– Простите! Я ничего не запомнила! – призналась она.

– А нас, барышня, бояться нечего! Мы потомственно служим Отечеству! А Борис Алексеевич так всех на сем поприще превзошли! В Персиях воевали! В самый что ни есть Багдад со своими пушками хаживали! Переранены, переморожены в боях-то! Страсти натерпелись! А домой прийти – вон как обошлось! – сурово выговорил моей новой знакомой Иван Филиппович.

И с этого сурового выговора все выровнялось. Моя новая знакомая наконец успокоилась, назвала себя. Звали ее Анна Ивановна Тонн. Происходила она из обрусевших немцев, служила в Дерптском, по случаю войны переименованном в Юрьевский, университете библиотекарем и была вместе с университетом эвакуирована в Пермь. Муж ее ехать отказался, а ребенок умер от скарлатины еще перед войной. В Перми при новой, временной, власти ей от места отказали. В Екатеринбурге она думала получить место в открывшейся осенью позапрошлого шестнадцатого года городской библиотеке.

– Простите, но вы, Борис Алексеевич, правильно часом назад назвали меня душой. Я на самом деле такая. Я узнала, что открывается библиотека, и поехала. А ведь просто следовало подумать, что и здешних библиотекарей достаточно хватает! – стала рассказывать моя новая знакомая Анна Ивановна. – Еще что послужило: в Перми про Екатеринбург всегда говорят с таким выражением, будто Екатеринбург зланный городишко сплошь с грубыми и пьяными мастеровыми, что если и есть кто интеллигентный, так тот боится в сюртуке из дома выйти и одевается не иначе, как в лабазную поддевку. Я вместе с ними тоже так стала считать. Я подумала: «Ах, вот!» – и покатила. А оказалось, что библиотека уже открылась год назад, и, конечно, мест нет!

– Уж так оно! Известное дело – пермяки! Они уж – это что ж такое, если не поскалятся! – сказал Иван Филиппович.

– Кое-как я смогла устроиться в госпиталь на половину жалованья, на семьдесят пять рублей без стола. Но и госпиталь закрыли. Моя новая подруга по госпиталю привела меня

туда, ну, вы, Борис Алексеевич, уже сами догадались. Она сказала, дескать, несколько дней поживешь, а за это время что-нибудь определится. Оказалось, это было то самое заведение, и подружка сама в нем участвовала. На четвертый день мне сказали, что я немка и должна им, потому что у них кто-то там на фронте. Меня стали заставлять... – Анна Ивановна пресеклась голосом.

– Это уж так! – закивал Иван Филиппович.

– Вот что, Анна Ивановна! Вы останетесь у нас, пока мы вам не найдем работу! – сказал я в надежде на возможности Миши Злоказова.

– Нет! Это невозможно! – вскричала она.

– Если не хотите вновь быть выгнанной на... – я хотел сказать «на соответствующий промысел», но не сказал ничего, – если не хотите, останетесь у нас. И без всяких с вашей стороны курбетов. Дайте нам слово!

Она задохнулась в слезах и только смогла утвердительно кивнуть.

После чая я отвел ей комнату сестры Маши, а сам устроился в гостевой, тоже, как и комната сестры Маши, заставленной со всего дома мебелью. Я долго не мог уснуть. И не новая моя знакомая Анна Ивановна с ее случаем была тому причиной. Меня снова стал мучать проклятый вопрос, почему все так у нас случилось, и зачем нужны были все наши жертвы. То есть вопросов выходило два. Однако я этого не замечал. «Россия стала единственной по-настоящему свободной страной!» – вспоминался мне восторг всякой комитетской сволочи. И тотчас вспоминалось военное законодательство Британской империи, по которому забастовавшие, как у нас, во время войны заводы без промедления окружались войсками со всеми вытекающими последствиями. У нас же заводские бунты были объявлены подлинной свободой. И одновременно с этими двумя соединенными воспоминаниями мне чередой вспышек пошли самые неожиданные и самые подробные подробности нашей войны, вплоть до останавливающих сердце взлядов упавших от изнеможения и ждущих выстрела в ухо лошадей. В этой череде всплыл и батарейный вахмистр Касьян Романович, не преодолевший соблазна содержать за батарейный счет взятого с боя у курдов жеребца. Прежнего хозяина жеребца я ссадил шашкой. Жеребец по праву должен был принадлежать мне. Но я не мог его присвоить и велел сдать для продажи в общем числе захваченных лошадей. «Ну и пусть, что он взял его себе! Зачем же мне было отбирать его! – запоздало стал я раскаиваться. – Ну, продали бы мы! А его или загнали да пристрелили бы, или замучили бы, как замучили парковых лошадей!» И на это раскаяние легло новое воспоминание – бои на перевале Кара-Серез в Курдистане летом прошлого семнадцатого года, когда Россия была уже «самой свободной страной», с бунтами и нежеланием воевать. Наша пехота-туркестанцы, то есть уральские и вятские мужики, призываемые на военную службу в Туркестан, малорослые и молчаливые по нашему суровому климату, упорно и молча под убийственным пулеметным и орудийным огнем поднимались на перевал, будто упорно и молча работали – или, как сами они выражались, робили – на заводе или худой пашне. И командир отряда полковник Абашкин Петр Степанович, наблюдавший их «работу», только крутил крупной стриженной головой. «Ни разу, Борис Алексеевич, не было так, чтобы мы противника били не солдатской кровушкой, а огнем! Никогда мы противника ничем, кроме своего духа, не превосходили! А так хочется повоевать за счет стратегии!» – примерно так запомнил я его слова.

– Вот зачем все это было? – спросил я, и в это время я не помнил своих собственных тягот, своих боев на Диал-Су, под Рабат-Кяримом, под Исфаханью, на Бехистунге, Ассад-Абаде, в Миантаге. Я не помнил нашего рейда на спасение оказавшегося в осаде и оказавшегося, страшно сказать, без утреннего горячего какао и мармелада многотысячного британского войска в Кут-Эль-Амаре. Нас по всей Персии было едва десять тысяч казачьих шашек при двух батареях. Их в Кут-Эль-Амаре влипло едва не вдвое больше, с едва не вдвое большим числом орудий. Но они запросили нашей помощи. Всего этого я не помнил. Это мне казалось чем-то

не существенным против упорно и молча поднимающихся на перевал туркестанцев и против молчаливого ожидания выстрела в ухо загнанных лошадей. Они, и туркестанцы, и лошади, по молчаливому их терпению и приятию судьбы мне казались чем-то единым. – Вот зачем все это было? Зачем все это нужно было устроить, если теперь все вот так? – спросил я.

И мне стояли пристреливаемые лошади. Мне стояли издыхающие мулы и верблюды на обочинах всех наших дорог и рвущие их, еще живых, жирные, но ненасытные грифы. И мне стояла молча и упорно берущая перевал пехота.

Сквозь эти переживания я услышал скрип двери из комнаты сестры Маши. «Все-таки собралась уйти! – в неприязни подумал я про Анну Ивановну и, будто она могла меня видеть, демонстративно отвернулся к стене: – Идите! Черт с вами! – Но она вышла и остановилась. – Обдумывает, как ловчее пройти к выходу!» – усмехнулся я.

Расположение комнат в нашем доме, прямо сказать, было несуразным. Комнаты, кабинет батюшки, столовая, кухня располагались как бы вокруг гостиной, но только именно как бы, потому что круга они с левой стороны дома не замыкали, походя в этом отношении на наш городской пруд, если на него смотреть с Тарасовской набережной. Кабинет батюшки, родительская спальная комната, комната сестры Маши и моя комната были как бы на той стороне пруда, где стояли гимназия, дома главного горного начальника и главного горного лесничего. Столовая и кухня были со стороны дачи Базилевского и Мельковских улиц, а гостевая комната была как бы на Тарасовской набережной, на самом ее углу с Главным, где стоит дом Севастьянова в его мавританском стиле. А гостиная выходила проходной и выходила, получается, на заводскую плотину, называемую с каких-то пор просто Плотинкой. И теперь в гостевой комнате я оказывался на пути Анны Ивановны. И когда она медленно пошла, пошла именно в сторону выхода, я не выдержал и сел в постели, готовый выйти ей навстречу. Она довольно уверенно прошла гостиную, освещенную законным светом от снега, и остановилась перед прихожей. Я хотел ревниво понудить ее пойти дальше. Она же вдруг пошла в мою сторону – и я почувствовал, как медная пружинная ручка моей комнаты медленно повернулась. Анна Ивановна вошла.

– Вас что-то беспокоит? – спросил я.

– Это невозможно, Борис Алексеевич! – прошептала она.

– Что невозможно? – спросил я.

– Я не смогу быть у вас в иждивении! Я сегодня воспользуюсь вашим гостеприимством и утром уйду! – сделала она шаг в мою сторону.

– Ну, это как вам будет угодно, сударыня! – вспыхнул я.

– Вы поймите! Я вижу, вы сердитесь! Вам неприятна моя неблагодарность! Но это не так! Я вам безмерно благодарна! Но поймите! Я не приживалка! Я не смогу! Утром я должна буду уйти! Но идти мне некуда. И я вернусь туда! Но я бы просила вас! Воспользуйтесь мной! Вы понимаете, о чем я! Вы мне поможет еще раз, как уже помогли! Мне будет потом легче! Иначе я не смогу! – опустила она на колени и потянула с плеч свою шаль.

– Да вы мелете вздор, сударыня! Как это вы не сможете, то есть, как это вы себе представляете, чтобы я воспользовался! Как это вы приживалка! Вы еще... – легкие мои стали задыхаться и сквозь них я сумел только сказать, что-то этакое, де, все вздор, все глупо и как-то не так.

Она обхватила мои колени, потащила мою руку к себе.

– Вы не можете отказать! Иначе я не смогу, и меня выгонят на улицу! Это бессердечно с вашей стороны! – заплакала она.

Я обнял ее и, как маленькую девочку, стал ее успокаивать, понимая, что она действительно не сможет, но и понимая, отчего она собралась уйти. Я стал ее успокаивать совершенно неожиданно, то есть неожиданными словами.

– Весной пятнадцатого года, – стал я говорить про ночной мой плен в ауле Хракере. – Весной пятнадцатого года утром и днем я был самым счастливым человеком. Жила девочка Ражита, которая через несколько лет должна была стать моей судьбой. А ночью ее и всю ее семью зарезали четники. Весной семнадцатого года я встретил свою судьбу во второй раз. И тоже мое счастье длилось только один день! – так я стал говорить.

– Если хотите, я стану вашей судьбой! Я, конечно, была замужем, я не девица! Но я из хорошей семьи! Но я еще молода! Я привлекательна! Я образована! Я умею работать! Вы ни о чем никогда не пожалеете! – поняла она меня по-своему.

Я ей не стал отвечать. Я молча ее обнимал и думал, что моя судьба, мое счастье были в службе. В службе у меня все было хорошо, даже если было плохо. В службе у меня все было легко, даже если было чрезвычайно тяжело. В службе я все понимал и ни от кого не зависел, кроме чести офицера русской армии, кроме долга перед Отечеством и государем-императором. Я отказался выполнить приказ по расстрелу возмущившихся в нашем тылу аджарских селений. Я был арестован. Меня ждал военно-полевой суд. Но мне так сделать было должно. Расстреливать не было делом русского офицера. Это я в службе понимал. И служба это понимала. Но я, не колеблясь, расстрелял бы из орудий любого, кто встал бы поперек во время нашего пути из Казвина в Энзели во исполнение приказа о выводе части нашего корпусного имущества в Россию. Меня бы ждал самосуд революционного сброды. Но это мне так сделать было должно. Это было делом русского офицера. Это я в службе понимал. И это служба во мне понимала. Не то выходило в иной судьбе, в ином счастье. Иное счастье мне давалось только на один день. И иная судьба тотчас его отбирала. И уже никто – я это натвердо знал – уже никто мне счастья принести не мог, никто моей судьбой стать, кроме службы, не мог.

Я не стал об этом говорить Анне Ивановне. Да и сказать этого было невозможно.

Прошло так сколько-то времени. Анна Ивановна успокоилась. Я проводил ее в комнату сестры Маши и взял слово, что она останется. Утром я пожалел, что не воспользовался ее, в общем-то, осознанным порывом – так мне захотелось женской ласки, женского участия. Я знал, что ни за что бы не воспользовался. Но все утро думал, что воспользоваться было надо. Было в этом что-то от простой жизни обывателя – воспользоваться. Иная судьба, выходило, пыталась меня ввергнуть в иную жизнь. Я находил в этом своеобразную, то есть декадентскую, красоту, совершенно все опрощающую и тем разрушающую нечто основное в жизни. Я не знал, каково придется встретиться взглядами с Анной Ивановной, каково придется заговорить с ней о пустяках, каково придется рядом сидеть за чаем и, может быть, ощущать ее волнение, ее трепет, ее невозможность встретиться со мной взглядом, невозможность сказать что-то о пустяках, невозможность пить чай и невозможность не ощущать всего моего состояния. Вот это незнание было моим, прежним, по моему мнению, единственно необходимым для жизни.

Я вышел во двор делать гимнастические упражнения. За ними меня застал чернявый мой жилец. Он вышел по утренней надобности, но смутился меня, буркнул приветствие и повернул обратно в дом. Мне пришла мысль спросить его о месте для Анны Ивановны в горпродкоме. И сама мысль спросить тоже оказывалась из того же ряда обывательских отношений. Я запоздало раскаялся в ней. Но уже на мой оклик чернявый жилец обернулся. Мы познакомились. Он оказался по фамилии Кацнельсон и, конечно, был иудейского вероисповедания, которое тотчас же отверг, сказав себя членом партии большевиков.

– Вы как военнослужащий добейтесь выселения этих! – сказал он про двух своих соплеменников. – Их платформа – завладеть домом. Я слышал, они имели какое-то жульничество по поставкам и бдительно попались у товарища Селянина. Я и сам служил по военному ведомству, отчего вас и вашу культуру уважаю, хотя вы из бывших. Партия меня направила в горпродком. Я вам скажу, как военный военному: не интересуйтесь горпродкомом, если даже имеете вид. Я ничего из этого горпродкома не имею. Я пью свой кипяток и ем свою черную краюшку.

– Хорошо, я не буду иметь вида! – едва я сдержал улыбку, как-то вдруг забыв об обывательности, то есть декадентскости разговора.

А через несколько времени он постучал к нам с Иваном Филипповичем.

– Товарищ Норин! В военном ведомстве мне выдали сапоги, и я честно поехал на фронт против Дутова. Но что теперь имеет в виду горпродком! Он совсем не имеет в виду мое нахождение на должности справочного стола, когда стол на самом сквозняке! Как военный служащий, вы в дальнейшем можете подтвердить невозможность мне посещать службу в отсутствии сапог? – обратился он ко мне и протянул листок бумаги. – Как два фронтовика, прочтите! Они не могут мне отпустить со склада пару сапог!

– Но вы получили сапоги в военном ведомстве, сколько я помню! – снова едва я сдержал улыбку.

– Вы как фронтовик знаете, что есть наступления и есть отступления. Те сапоги я фронтовым образом не успел обуть в период их наступления, когда я был в теплой хате! – чисто-сердечно признался товарищ Кацнельсон. – И теперь я взял сапоги напрокат, но от них вышли только одни голенища. И за эти голенища я вынужден платить все мое жалованье. Я написал товарищу Попенченко заявление. Но вот уже снова три дня я обязан ходить на службу без удовлетворения мне пары сапог! Товарищ Норин, прочтите, как фронтовик!

Мне ничего не оставалось делать. Я взял бумагу. В ней значилось: «Горпродкомиссару от сотрудника горпродкома Кацнельсона заявление, второе в виду отсутствия на первое. Настоящим снова прошу дать мне разрешение откомандировать меня на Дутова, хотя бы он затаился, так как в горпродкоме ничего не добьешься, кроме ареста с вашей стороны. И мое дело в таком виде быть на фронте, но не в горпродкоме».

– Что вы скажете, товарищ Норин? Это когда кто-то жульничает и имеет платформу частного собственного интереса, некоторые партийные делопроизводители-фронтовики не имеют пары сапог, хотя стоят на платформе рабочего пролетариата! Разве за это боролась наша революция? – спросил он.

– Нет, не за это она боролась! – с улыбкой сказал я, а в уме совершенно серьезно перевел, что очень хорошо, когда революцию стали осуждать ее творящие. И еще я сказал, что заявление вследствие его стиля надо было бы переписать.

Кацнельсон замахал руками.

– Никогда, ни в коем случае! Товарищ Попенченко за грамотность будет иметь подозрение в моем сношении с буржуазией! – сказал он.

Я ушел на службу, а Анна Ивановна так и не вышла к завтраку. Я шел к себе в парк артиллерийского дивизиона, а думал только об Анне Ивановне, думал тревожно, трепетно и с какой-то непонятной робостью, будто она надо мной довлела. Я слушал себя и ловил, что думать об Анне Ивановне было приятно, что думать о ней хотелось. Не останавливало даже то, что желание думать о ней вторгалось в мою судьбу, которую мне Господь определил только в службе. «Так уже было! – вспомнил я о своем коротком, но мучительном чувстве к Наталье Александровне осенью четырнадцатого года, чувства, от которого меня спасла война. – Так что ж, что было! – ответил я воспоминанию с тем смыслом, что за одного битого двух небитых дают, то есть совершенно равнодушно. – Вот ведь хорошо, что я не умею любить!» – с удовольствием еще сказал я. Только-то всего и сказал, а меня здесь же и кольнула в сердце Элспет. И вновь всплыло, как образ, как начертание моего пути через Туркестан и Индию к ней, к Элспет, имя полковника Дутова. Вслед по логической завязке мне предстали мои незабвенные друзья Василий Данилович Гамалий, Коля Корсун – да что там говорить, единым образом мне предстало всё, что именовалось Персией, то есть наши два года войны. Но приятность от мысли об Анне Ивановне пребыла и тут.

– Ну, вздор! – сказал я и почувствовал, что сказал совершенно попусту, что никуда Анна Ивановна не делась.

С тем я пришел в парк. Встретил меня подполковник Раздорский, прошу прощения – военнослужащий из бывших подполковников Раздорский.

– Что это вы сегодня, будто у вашей бабушки именины! – сказал он. Я попытался промолчать. Он, однако, в значении посмотрел на меня и вдруг сказал: – А ведь никакой вы не учитель и не прапор военного времени, а, Норин! От вас же еще вон с того перекрестка, как я вас увидел, несет штаб-офицером, причем того, – он скосил глаза по сторонам, – того, нашего, довоенного, выпуска!

Я зацепился за слово «несет».

– А вам, Раздорский, не кажется, что от вашего предположения несет чем-то специфическим? – спросил я с намеком на сыскных агентов охраны.

– Это вы русскому штаб-офицеру? – бледнея и теряя голос, спросил Раздорский.

– Это я – человеку, который не следит за своей речью! – сказал я.

Все это было неумно. Да ведь я не однажды говорил – меня только почитали за умного, а на деле я таковым не был.

– А стреляться, шпак? – по-французски и с удушливым хрипом спросил Раздорский.

– Как прапорщик военного времени, то есть шпак, не имею чести! – по-французски же сказал я и твердо решил сегодня же объясниться с Мишей Злоказовым, почему я должен скрывать себя.

– Я это запомню, Норин! – сказал Раздорский.

– И я почту за честь запомнить! – сказал я.

С тем мы разошлись, два подполковника императорской русской армии с совершенным понятием о чести, но далеко без нее, то есть кто-то вроде цирковых затейников-скоморохов. Я попросил Лебедева сходить за вещами Анны Ивановны. Помня вчерашнее, он услужливо откликнулся. Я спросил о лошадях у командира парка Широкова.

– Где я тебе возьму фуражу! – невольно закричал Широков.

– Но ведь я по вашей просьбе договорился на их счет с конским запасом! – напомнил я.

– Прапор! Как тебя, Норин! У тебя что? У тебя мортиры с бомбометами или лошади в обязанности? – снова закричал Широков.

Это стало нормой – кричать. Я к такой норме привыкнуть не мог.

– А еще поврежденный уравнивающий механизм системы Бофорса! – вспомнил я орудейную деталь из ведомости учета паркового имущества, переданного мне.

– Как? – смутился Широков и вдруг совсем мирно сказал: – И что вам, старым офицерам, все надо! С вас спрос за мортирки, а вы – еще и за лошадки! Да и за мортирки-то нынче никто не спросит, хоть их в прах разбей, хоть где пропей или утопи! – и вдруг широко повел рукой. – А вот садись-ка, товарищ Норин. А вот выпьем-ка мы с тобой чайку с пряниками!

Я вспомнил моего друга есаула Василия Даниловича Гамалия.

– Мой сослуживец и друг говорил: «ЧайкЮ»! – решил я пойти Широкову навстречу.

Он согласно кивнул.

– Тебе как, с блюда любишь пить или по-господски? – спросил он.

Я ответил, что меня вполне устроит жестяная или медная кружка. Он опять согласно кивнул.

За чаем с анисовыми пряниками, которые Широков поставил на стол с явным удовольствием человека, имеющего то, чего другие, по его мнению, иметь не могли, он попытался меня разговорить. Он подвигал мне пряники, с артистическим равнодушием говорил брать их без стеснения и спрашивал меня про прежнюю мою службу. Я знаю много людей, способных сидеть за чаем, за закусками, за пустой болтовней едва ли не каждый час и уж точно, что каждый предложенный случай. Такие люди меня всегда удивляли способностью не столько вместить в себя без счета чая и закусок, сколько способностью пусто провести время. Я у Широкова через силу посидел с десять минут и собрался встать. Широков же снова повел рукой остаться.

– Пей, дорогой товарищ! Чаю много! Никуда от тебя твои мортирки не сбегут! Да и айда оно все прахом! Никому ничего не надо. Всем одно – домой и домой! – сказал он. Я снова вспомнил оставшихся в Персии моих товарищей. А Широков вдруг пригнулся к своей кружке. – А тебе, по случаю, револьвер не надо? – зашептал он. – Револьвер, патроны, ручные гранаты? Ведь все прахом пойдет!

Я, посчитав вопрос за нечто из проверки, и от предложения отказался.

– Зря! – снова зашептал Широков. – Многие из бывших офицеров не сдают. Приказ о сдаче вышел еще в декабре. А дураков сдать особо не отыскивается. За него тебе от казны семьдесят рублей. А что семьдесят рублей против револьвера! Так что, если надо...

– Никак нет, не надо! – снова отказал я.

– Ну, смотри! – в разочаровании отлип от кружки Широков.

– А что с лошадьми? – еще раз спросил я.

– И лошадь можешь взять, а то и две! Как у вас, у казаков, одна под тобой, одна заводная! – с непонятной усмешкой сказал Широков.

– Спасибо! – сказал я, понимая, что ничего во спасение лошадей не делается.

7

Вечером я снова пришел к Мише.

– Миша, два вопроса! – сказал я с порога.

– Без Фельштинского хоть десять. Решим все! – артистически высокопарно сказал Миша.

Но на первый вопрос – долго ли мне изображать прапорщика военного времени – он внятно ответить не мог, а только сказал, чтобы я потерпел до какого-нибудь удобного случая.

– Лучше бы тебе вообще прикинуться солдатиком-недоумком – целее будешь! – сказал он.

– Да что за игрушки! Офицеров убивают без разбора – прапорщик он или полковник! Так хоть подохну самим собой, а не каким-то шпаком! – сказал я в раздражении.

– Давай по порядку! – не принял моего тона Миша. – Что впереди, нам с тобой неизвестно, но вернее всего, ничего хорошего, только тьма и мрак. Я по тебе смотрю, вы у себя, там, в Персии, не особо что и видели. И Туркестан тебя ничему не научил. А здесь все по-другому.

– Ардашева, как Серега наш говорит, кокнули и объявили, что пытался бежать. Это по-другому? – перебил я.

– Отнюдь! – в превосходстве и артистическом спокойствии, какие испытывает недалекий учитель перед учениками, ответил Миша. – Отнюдь, Борис! Дело в другом. Ты помнишь, мы в пятом году все вышли приветствовать свободу! Не знаю, как ты, а я всю эту свободу пронюхивал до сего дня, до несчастного этого Ардашева, если уж ты его вспомнил. И вышла вот такая картина!

– Миша, давай попроще! – попросил я.

– Я и так проще некуда! – остановил он меня. Он стал ходить по комнате, несколько присутуясь и скрестив руки на груди. Я этого в Мише ранее не видел. И я предположил, не заделался ли Миша деятелем какой-нибудь партии. – Так вот, – сказал Миша. – Я хорошо помню твои чувства по отношению к императору, ныне гражданину Романову, и касаться его не буду, хотя то, что он слетел, исключительно его личная заслуга. Он довел страну до такого вот состояния! – Миша показал за окно и снова скрестил на груди руки. – И он бросил страну. Но сейчас не о нем. Он уже никому не интересен и может выращивать капусту где-нибудь у себя на огороде, как ее выращивал, правда, по другой причине, римский император Диоклетиан.

Такой Миша, Миша вещатель, Миша вожак какой-то партии, мне не нравился. И еще я в удивлении обнаружил в себе некое равнодушие. Во мне не оказывалось чего-то того, что было во мне раньше. Миша мне напомнил мой юношеский трепет перед именем государя императора. А я прежнего трепета не ощутил. Я как бы при этом смотрел не на себя, а на кого-то другого на моем месте и с досадой думал, ну, зачем мне это. Или же тиф лишил меня сил чувствовать глубоко, или же во мне поселилось какое-то отчуждение по отношению к государю императору за то, что он, как говорили все, бросил нас. Определенней сказать было трудно. Но то, что я подумал о государе императоре, как все, мне больно черкнуло. Чтобы утишить боль, я вступил в разговор.

– Диоклетиан не был оригинален со своей капустой. Более того, он явно играл! Первым был Маний Курий! – сказал я о римском полководце, изгнавшем из Италии Пирра и после многочисленных других побед и триумфов удалившемся в свое скромное поместье. Когда к нему пришли послы с просьбой вернуться и предложили хорошее содержание, он отказал, сказав, что тому, кто обедает вареной репой, выращенной самим, золота не нужно, что он сам предпочитает владеть не золотом, а умами тех, кто золотом владеет, ибо это и есть подлинное богатство.

– Ну, ты всегда был в фаворе у нашего Васи! – в явном неудовольствии на мое замечание хмыкнул Миша, называя Васей нашего учителя истории и географии Василия Ивановича Будрина.

– И у Вильгельмушки! – в тон ему назвал я преподавателя немецкого языка Орведа Вильгельмовича Томсона, а потом присовокупил преподавателя латыни Петра Михайловича Лешника, естественно, по гимназическому прозвищу Петя Лишний, преподавателя греческого языка Виктора Моисеевича Тимофеева, то есть, по-нашему, Грека Иудеевича Через-реку, и преподавателя русского языка Александра Ивановича Истомина, кажется, единственного оставленного без клички.

– Да уж известно! – не скрывая ревности, но ревности ребячьей, легкой, сказал Миша и с обидой спросил: – Так ты будешь меня слушать?

– Буду, – сказал я.

– Эх, Борька! Куда все делось! И какими дураками мы были! Что надо было дуракам! Что мы понимали! А полезли туда же! Свобода, равенство, братство! Вот где они все, эти свободы, равенства, братства! – завернул Миша свой уже много раз упоминаемый маленький, но выразительно крепкий кукиш.

– Миша, попроще! – напомнил я.

– Кому на руку эти свободы – только сволочам из Госдумы да есерам-бомбистам вышли! – сказал Миша, назвав эсеров через начальное «е», и осекся. – А говорить-то, Борис, собственно и не о чем! – вдруг сказал он, пристально поглядел на меня и прибавил: – Взглянешь на тебя, на твою постную рожу и тут же себе скажешь: «Молчит, холера. А ведь все знает лучше меня!» И чего ты молчишь? И чего я перед тобой мелким бисером сыплюсь? Как это было у нашего Пети Лишнего: «Сыпать Маргариту перед кем?»

– Margaritas ante porcos! Жемчуг перед свиньями! – с артистическим назиданием сказал я.

– Вот именно: «Маргариту перед поркой!» – вспомнил Миша детские наши издевательства над нелюбимыми предметами, для них, для большинства класса, нелюбимыми, но мне достающимися без труда. – И это! – пошел в воспоминания Миша. – Как ты там Пете Лишнему сказал это выражение, которое «против ветра»? Как там по латыни «сделать против ветра»? Как он тебя? А ты ему? Скажи, Боря!

Притом что я вышел из гимназии в числе первых учеников, я был не лучше своих товарищей-одноклассников и тоже давал волю различного рода пакостям по отношению к нашим преподавателям, правда, другого рода пакостям, нежели сотворяли их мои товарищи. Я не хрюкал на уроках, не возился под партами, не пулял жеванной бумагой, не играл в подкидного, не рисовал преподавателей уродцами или за приписываемыми им нашим воображением гнусными занятиями. Я пакостил по-своему. Одну из таких пакостей сейчас и вспомнил Миша. Состояла она в том, что как-то наш латинист Петр Михайлович Лешник никак не мог добиться от класса ответа на домашнее задание выучить несколько крылатых фраз. Спрашивать, к своему горю, он начал с самых нерадивых, сидящих на задних партах, на так называемой Камчатке. Естественно он не получил ответа и перешел к середнячкам, к числу которых принадлежал и Миша. Именно Мишу он спросил первым из середнячков. Мише же попала шлея под хвост. Он сказал, что ответить не готов. Следом, почуяв развлечение, о своей неготовности стал отвечать весь класс. Петр Михайлович поднимал одного за другим и спрашивал, как будет звучать на благословенной латыни та или иная из домашнего задания фраза, по мере отрицательных ответов, остановившись на одной, которая в данной ситуации оказывалась как нельзя более логичной.

– Ну-с, как будет звучать на латыни «С человеком, отрицающим основы, спорить невозможно»? – спрашивал Петр Михайлович, и ему никто не отвечал.

Дошло дело до меня, всегдашнего выручателя в подобных случаях. Я, конечно, урок приготовил, и фраза эта по латыни звучала так: «Contra principia negantem disputari non potest». Труда выучить ее не составляло. Я выучил. Но я, обуреваемый мальчишечьим бесом, подумал и нашел, что не лишне будет сему напыщенному изречению перевести на латынь своеобразную русскую народную идиому о вреде, прошу прощения, справлять малую нужду против ветра. «Это-то покрылатей будет!» – решил я.

– Ну-с, и наконец Борис Алексеевич! – по своей привычке выделять меня обращением по имени и отчеству произнес Петр Михайлович. – Скажите же наконец этим олухам царя небесного фразу о бесполезности спорить с заносчивым и недалеким человеком!

Я сказал.

Бедный Петр Михайлович всему классу в журнале поставил точки. Мне же, когда до него дошел смысл моего ответа, он трясущейся рукой и в дрожании губ вкатил размашистый «кол».

Вот этот эпизод сейчас вспомнил Миша.

– Ну-ка, как там было «против ветра»? – в удовольствии расхохотавшись, стал просить сказать Миша.

– Так, против ветра! – отмахнулся я.

– Нет, ты скажи. Как сказал тогда! – потребовал Миша.

– Ты что-то хотел мне сказать без Сереги! – уклонился я от ответа.

– Ну и что ты за человек, Борис Алексеевич! В жуткой тьме торжества хама тебя просит друг посветить лучиком радости, а ты не хочешь! – недовольно, но стараясь в шутку, выговорил он мне.

– Не дам я тебе лучика радости. Ты мне что-то собирался сказать! – напомнил я.

– Да вот пропала охота! – сел Миша за свой письменный стол, посидел и вдруг предложил выпить. – Давай выпьем. У меня есть старый шустовский коньяк, то есть коньяк из твоих Персий-Армений. Тебе будет приятно. Смотри, вот! – он открыл секретер. – Вот, непочатая бутылка. Закуски я сейчас принесу!

– Миша, ты все-таки кто, кроме того, что писарь при адъютанте начальника гарнизона? – спросил я.

– Писарь при адъютанте председателя военного отдела исполкома совета рабочих и солдатских депутатов! – ернически поправил он.

– И кто еще, кроме этого? – снова спросил я.

– Ладно, ваше высокоблагородие. Выпьем, расскажу по порядку! – пообещал Миша и ушел за закусками.

Мы быстро захмелели и говорили много, но говорили без всякого порядка, пьяно полагая, что говорим исключительно в соответствии с логически выверенным порядком. Из того, что говорил я, вспоминать нет нужды – естественно, я говорил о Персии, о моих товарищах, о дороге через Туркестан, о казаках-бутаковцах, polegших на Олтинской позиции, но не пропустившей турок и тем способствовавших неудаче турецкой операции по окружению нас под Сарыкамышем и Карсом. Когда я сказал об Элспет, Миша назвал меня дураком – это за мой отказ от предложения служить в британской армии. Он почему-то вспомнил местных англичан Ятесов, инженеров и владельцев заводов, мне по детству более известных как владельцев писчебумажных магазинов, в которые я всегда входил с редкостным трепетом и абсолютной завороченностью обилием письменных принадлежностей. С этим трепетом мог соревноваться только мой трепет перед воинской казармой в ожидании, когда откроются ворота казарменного двора и на миг мне покажут, как я полагал, воинскую службу – не шагистику солдат-новобранцев на плацу Сенной площади, а саму службу, сам, окутанный военной тайной и от того необычайно иной, чем во всем городе, порядок жизни военных людей.

– Ведь приехали сюда и живут здесь дольше, чем мы с тобой живем, и не считают себя по отношению к Англии сволочью! – сказал Миша о семействе Ятесов.

– Они обыватели. Они заводчики. Капиталу нет нигде границ, потому что капитал наживается без чести, а я русский офицер! – возразил я и даже сквозь пьяную дурь почувствовал стыд за спесь, с которой я это сказал.

– Ты, Боря, прежде всего истинный русский дурак! Поехал бы, и ничуть бы твоей невинности это не повредило! – сказа Миша.

– Моей невинности не повредило бы. А чести русского офицера – да! – сказал я.

– Возражение в два параграфа! Параграф первый. Такой, как ты, всей британской чести дал бы фору в сто очков! Параграф второй. Никакой чести вообще нет, а есть миф, сотрясение воздуха! – сказал Миша.

– Как нет чести? – взвился я.

– Так нет. Это выдумка умных людей, чтобы таких дураков, как ты, заставлять бесплатно служить их интересам и добровольно подставлять башку, нет, добровольно и с наслаждением подставлять башку под топор или чего там за их капиталы! – сказал Миша.

– То есть и за твои капиталы? – спросил я.

– И за мои тоже! – сказал Миша.

– В таком случае, не имею чести продолжать дружбу с вами, господин умный заводчик! – встал я.

– А ты имей честь продолжать! Ты не это, как ты нашему Петруше Лишнему ответил, ты не делай против ветра! Дружба – это закон природы! Я тебя люблю. И я имею право сказать тебе правду! А то подставишь башку по дурости, а будешь думать, что подставил за Россию, за государя императора! А мне потом с кем оставаться? Нельзя против ветра это делать. Ну, скажи ты это слово по латыни! – загородил мне дорогу Миша.

– У нас разные с тобой России, господин заводчик! У тебя Россия – капитал. А у меня Россия – честь! – зло сказал я.

– Ты, Борис, не просто дурак! Ты законченный дурак! А я тебя люблю, и я тебе говорю: нельзя против ветра. Дунула тебе судьба в задницу. Так ты расправь галифе парусом да и лети, куда она дует! – стал увещевать меня Миша.

– Судьба дует в задницу! – напомнил я.

– С чего она туда дует? – возразил Миша, видно, тотчас же и забыв сказанное. – Она дует по направлению! Тебе дунула по направлению. И ты скажи ей спасибо, ты в задницу ее расцелуй за это! Ты бы там у них стал первым лордом! В крайнем случае, получил бы за беспорочную службу поместье и жил бы остаток жизни в окружении своей Элспет с вашими соседними элспетями русско-британского происхождения! Да ты бы им судьбу сделал, Боря!

– Смердит от тебя, Миша! – с прежним злом сказал я.

– А хочешь, я выведу тебя на британского посла, и мы это предложение тебе восстановим? – вдруг предложил Миша.

– Сделай меня абиссинским королем! – сказал я.

– А ты не умеешь любить, господин хороший! Ты себя только любишь и честью прикрываешься! – тоже зло засверлил меня взглядом Миша.

– Ну, уж славно, что не капиталом! – сказал я, вдруг почувствовав утреннюю приятность от воспоминания об Анне Ивановне. «Верно, так волнуется, ждет моего возвращения!» – подумал я.

– Как бы ты прикрылся тем, чего у тебя нет! – горделиво и, кажется, вместе глумливо констатировал Миша.

– А все-таки ты кто, а, Миша? – спросил я.

– Да никто! Я просто удачно подставил задницу под дуновение судьбы и, в отличие от тебя, этому не стал препятствовать. Но обо мне потом, обо мне как-нибудь потом! – опять ушел от ответа Миша.

– Ну и как бы ты вышел на британского посла? – спросил я.

– На самом деле выйти? – подхватился он, принимая мой праздный и пьяный вопрос за подлинный интерес.

– Никак нет! – резко сказал я.

Мы помолчали. Я подумал об Элспет и об Анне Ивановне. Как, с каким чувством я подумал об Элспет, сказать было трудно – коньяк стирал боль. А об Анне Ивановне я снова подумал с утренней приятностью – ждет и волнуется.

– Ну, а второй вопрос, с каким ты пришел? – вдруг вспомнил Миша.

Ни второго моего, ни какого-либо из десяти обещанных Мишей мне вспоминать не хотелось. Я промолчал. Заговорил сам Миша.

– Небось про лошадей спросить хотел? – с усмешкой посмотрел он на меня.

– Нет! – сказал я, хотя именно о них-то и было моим вторым вопросом.

– Какие там лошади! Падаль, а не лошади! Помнишь, у Бодлера есть стихотворение «Падаль»? Вот именно то и есть твои лошади! – сказал Миша.

– И что? – спросил я.

– Да судить надо твоих парковых! – снова усмехнулся Миша и как-то темно блеснул глазами. – Падаль, Борька! Кругом одна падаль, сплошь одна склизкая, вонючая падаль от самого верха до самого низа! И ведь не с этой поганой революцией она пришла, Борька! Она еще там расцвела, в наше время! Ты за своей серой шинелью, за своим мундирным сукном ничего не видел. А я повидал! Ах, как пахуча она была, эта падаль, Борька! Все эти властители наших умов и сердец, а вернее, властители нашей прямой кишки, все эти, эти... – Миша кинулся искать слово, а я почему-то подумал, что он назовет какого-нибудь политического лидера из тех, кто витийствовал перед войной, совсем, кстати, нас, военных, не задевая. Он же сказал иное. – Все эти Зиночки Гиппиусы, Таньки Щепкины-Куперник, Аньки Ахматовы! – кривясь и со злобой сказал он. – Ты помнишь, Борис? Хотя где тебе помнить! Ты небось в окопе сидел и зад пальцем вытирал, потому что больше нечем было, и у тебя ничего больше не было, кроме своего пальца, ни винтовки, ни снарядов! Так вот надо было вытирать вот этой всей падалью! – Миша открыл дверцу книжного шкафа и смахнул пачку книг. – Вот этой падалью! На, смотри, что они понаписали, пока ты искал, чем задницу подтереть! Смотри! Хотя, стой! Не замарайся! Я сам тебе покажу! Вот! – Миша в остервенении, будто хотел порвать надвое, открыл томик в черном корешке, столь же остервенело стал его листать. – Вот! Да где же она, тварь рыжая Зиночка!.. Черт! Не могу найти! Зато вот, пожалте вам Михаил Кузмин, известнейшее на весь Питер педро, ты, надеюсь, понимаешь, о чем я говорю? Вот он: «Испепеляйте, грабьте, жгите! Презренье вам в ответ – не страх! С небес невидимые нити Восстанавливают падший прах!» Каков суконец, а! Восстанавливают ему прах, педре! А дальше какие имена! Ты только послушай: Садовский, Мазуркевич, Бальмонт, Мейснер, Зарин-Несвицкий, Тэффи! – сплошь посконно русские имена, такие посконные, что какому-нибудь Мишке Злоказову остается только обозвать себя Майклом! Все взялись в ресторанах у Кюба сострадать и утешать! А вот еще Блок! Хочешь Блока – о войне? Изволь! «Но все – притворство, все – обман! Взгляни наверх! В клочке лазури, Мелькающем через туман, Увидишь ты предвестье бури – Кружащийся аэроплан!» А? Как тебе? Видел ты там, у себя, на фронте, в клочке лазури предвестье бури?... И это всё, – Миша швырнул томик, – это всё называется «Современная война в русской поэзии». – Он томик швырнул, но тотчас поднял его. – А где же все-таки тут была Зиночка Гиппиус! Ты помнишь ее это: «Вся ваша хваленая германская мощь русскому солдату навывсморк!» Не помнишь? Ну да. Ты же в окопе сидел и эту мощь на себе терпел, пока она тут занималась лесбийской любовью! Повидал я их всех! Все – падаль! Как у Бодлера, «Полусгнившая, она, вверх брюхом, как продажная девка, раздвинув ноги, лежала! И источала на округу гной!» – кажется так! – он говорил с таким бешенством, что я увидел у него в углу губ белую накипь.

– Всё, Миша, хватит! – попытался я его остановить.

– Бури в лазури им подавай! – не слушал меня Миша. – С небес нитки им прах восстанавливают! – в бешенстве говорил он и в бешенстве листал томик. – А! Вот! Нашел я Зиночку! – ударил он кулаком в страницу. – Вот! «Но сочтены часы томления. Господь страданий не забудет. Голгофа – ради воскресенья, И веруем – да будет!» Дни ее томления сочтены! Да несть числа дням твоих томлений, сволочь старая! Только не тех томлений, о каких ты тут ноготками своими скребешь, а тех томлений, которые грызут тебя по блуду! И туда же: «Веруем – да будет!» Будем вам, будет! И из-за вас всем нам будет!

– Хватит, Миша! Ты о лошадях вспомнил. Скажи яснее, что? – спросил я.

– Кому – бурю в лазури, кому – часы томлений, а ему – дохлые лошади! – глумливо рассмеялся Миша и спросил, надо ли мне еще коньяку. Я отказал. – Вот что! – неожиданно сказал он. – Вот что! Я дам тебе браунинг. Но ты должен о нем молчать. Хорошая штука браунинг. Лежит он у тебя в кармане. Заходишь, куда тебе надо, например, к тому же Паше Хохрякову или к Яше Юровскому и: «Здравствуйте, господа хорошие! Я ваша тетя от...» – Тут, если к Паше, то говоришь, от Яши. Если к Яше, то говоришь, от Паши. И бабах пару пулечек ему в хайло. А при этом – чик-чик, на две позиции патрончики в обойме подвинулись! Чудо!

Я встал уйти. Взгляд его, только что темный, бессмысленный, замерцал искренней просьбой.

– Боря, не уходи! Побудь еще! Одиноко мне! – стал он просить.

– Ну, поздно же, Миша, и ты пьян! – стал я отговариваться.

– Тогда я пойду с тобой! – сказал он.

И пошел, и потащился за мной, так что мне пришлось смириться и притащить его к себе.

Дома свет мерцал только в окне Ивана Филипповича. Я встревожился, не ушла ли Анна Ивановна. Но встревожился я напрасно. Едва мы загремели в дверь, она с Иваном Филипповичем вышла встречать. Она держала свечу, и я, хоть и был пьян, увидел, сколько приятно было ей мое возвращение. Увидев ее, преобразился и Миша. Он отстранился от меня и пустился целовать ей руки. Она от неожиданности попятилась. Миша в попытке схватить ее за руку, ткнулся лицом в свечу. Анна Ивановна вскрикнула. А Миша нашел в случившемся только смешное. И потом, пока его, наконец, не прибрал сон, он в попытке ухаживать за Анной Ивановной время от времени вспоминал свой ожог. Тогда он начинал смеяться, говоря, что встреча его с Анной Ивановной была освящена огнем, что он теперь огнепоклонник в самом прямом смысле, а я, потому, что я был в Персии, в древней стране огнепоклонников, стал ему братом. Анна Ивановна его чуждалась и всякий раз взглядывала на меня в растерянности, в которой я читал просьбу простить ее за поведение Миши, за то, что она, по ее мнению, становилась причиной его поведения. Я в ответ улыбался уголками губ. И была ли в полумраке комнаты видна моя улыбка, сказать было трудно. Но кажется, ей она была видна, или она ее чувствовала, потому что я видел, она на какое-то время успокаивалась. Иван Филиппович в полной уважительности к родителям Миши все пытался Мишу расспросить об их жизни, их нынешнем положении. Миша начинал отвечать, но тотчас же отвлекался на Анну Ивановну, и она снова смотрела на меня растерянно. Я снова отвечал ей короткой улыбкой. Миша не спрашивал Анну Ивановну, кто она, почему она в нашем доме. Он принимал ее за поселенную к нам эвакуированную. Мне надоело видеть Мишу таким, и я потащил его к себе в гостевую комнату. Будто поджидал нас, вышел навстречу Ворзоновский.

– Товарищ высокий военнослужащий! Мне неприятно вас отвлекать в таком важном для военнослужащего деле, как приятный отдых. Однако есть очень странные слухи, которые уже ставят меня в щекотное положение, будто я имею претендовать на ваш дом. Это столько же не имеет ко мне ничего, как ваша военная шапка к нашему ребенку! – начал он свое обращение ко мне.

Я в пьяном снисхождении оборвал его.

– Докладывайте ясно и кратко! – приказал я.

– Та ж мы уважаем военнослужащих, как невозможность без них пребывать ни такому маленькому человеку, как ваш покорный слуга, так и такому большому человеку, как совет народных комиссаров! – сказал Ворзоновский.

– Кратко и ясно! – снова приказал я.

В приоткрытую дверь их комнаты высунулась его жена.

– Зяма! Да скажи уже прямо господам офицерам! Они расположены слушать! А то они тебе дадут совет, которым не воспользовалась бы даже твоя покойная мамочка! – сказала она.

– Совсем смешная подсказка! – в сторону жены сказал Ворзоновский, нам же стал опять говорить что-то невнятное про некий дубликат и некую крупу, про неких его компаньонах по какому-то делу, про некий приказ по гарнизону.

При словах о приказе Миша встрепнулся.

– Приказ о дубликате на крупу? – уставился он на Ворзоновского. – Этот приказ? Так что же вы, господа хорошие, с огнем играете? – Миша обернулся ко мне и потер обожженное лицо. – Я писал этот приказ, – и снова отвернулся к Ворзоновскому. – А ты знаешь, что там должно было значиться? Нет? Там было должно значится: «Передать в руки чрезвычайного уполномоченного по борьбе с контрреволюцией товарища Хохрякова для определения дальнейшей судьбы». Вот что там должно было стоять. А что написано в приказе? Там написано: «Заменить содержание под стражей на внесение залоговых сумм». Так?

Может быть, в связи с пьяным моим состоянием, может быть, сказалось плохое освещение, но я не увидел, как жена Ворзоновского оказалась возле него, и как они вместе принялись хватать Мишу за руки.

– Господин офицер! – вскричали они.

– Да вы что! – от неожиданности вскричал Миша.

– Пан офицер! – вскричали они.

– Да вы что, а? – вскричал Миша.

– Пан, пан! Молим Бога! – вскричали они.

– А ну выписку из приказа сюда! – опомнился Миша.

И опять – каким образом оказалась требуемая выписка у Миши в руках, я не увидел. Миша, отстраняясь от хватающих рук Ворзоновских, стал читать.

– Так! – стал читать он. – «Члену военного совета Зиновьеву поручается на виновных в спекулятивной продаже дубликата Любек, Равве, Гольдберг, Ковнер, Ворзоновский возложить возвращение полку суммы в двадцать девять тысяч пятьсот рублей, дубликат не возвращать». Что вам не ясно? Что вы пристаёте к товарищу военнослужащему Норину? Вы вернули полку суммы?

– Пан офицер! Таки там еще написано другое! Там написано такое, что исполнить невозможно! – вскричала жена Ворзоновского.

– Что написано? – Миша стал читать дальше. – Написано: «Предлагается заменить содержание указанных лиц под стражей на внесение залоговых сумм». Заменяли вам?

– Таки заменили, молим Бога! Но там еще написано невозможное! Там написано внесение залоговых сумм Гольдберг – двадцать одна тысяча пятьсот рублей! Это имеет быть революционно справедливо. Там написано: Ковнер внести десять тысяч, Равве пять тысяч! И это неопишимо справедливо. Но там написано внести Ворзоновский три тысячи, а Любек только пятьсот рублей! Это, как вы можете догадаться, совсем несправедливо. Но это не вызывает спора. Может, дядя Любека делал революцию, и теперь Любек имеет от революции уважение, хотя поверить в то никак не имеет смысла. Но там еще написано за немедленную доставку крупы. Там написано за возвращение всей суммы дубликата в полк. Там написано за сумму залога. Но это тройная оплата! – простонала жена Ворзоновского.

– А вы бы хотели четверную? – съязвил Миша.

– Но Зяма имеет сказать про Любека и всех других такое, что будет революции полезнее, чем три тысячи! – сказала жена Ворзоновского.

– Пусть скажет в письменном виде. Утром я заберу! – распорядился Миша.

– Но будет ли Зяме?... – начала выговаривать условие жена Ворзоновского.

– В размере революционной пользы! – пообещал Миша.

– Это непременно? – спросила жена Ворзоновского.

– Революция не отвечает. Революция спрашивает! – оборвал Миша.

Вся сцена причиной имела то, что, по дальнейшему рассказу Миши, группа указанных лиц сумела продать начальнику хозяйственной части сто восьмого запасного полка фальшивый дубликат на покупку крупы. По их взятии все они признались и согласились на уже сказанные условия освобождения их из-под стражи. Полковые деньги и залог они внесли, но на покупку крупы у них якобы средств не осталось, или они, сказать по-революционному, решили покупку саботировать в надежде, что удастся выкрутиться. Я спросил Мишу, правда ли, что он изменил текст приказа. Миша только рассмеялся:

– Вот подожди. Утром они принесут свой донос – и я им скажу, чтобы они выметались из твоего дома, иначе, скажу, я их определяю на место жительства к Паше Хохрякову. И они знают, что у Паши этим местом жительства часто является не тюрьма, а, по его любимой присказке, поля Елисейские, в которых сейчас пребывает и несчастный Ардашев. Они ловко с Яшей, переводи, Янкелем Юровским, дело поставили. Паша отправляет арестованного к Яше и конвою говорит, чтобы после Яши – на Елисейские поля. И потом оба вешают вину за убийство на самого арестованного, мол, сам на пулю напросился. Да скоро ты сам на себе это почувствуешь. Как начнут формировать свою, так сказать, революционную армию да как погонят туда вашего брата офицера, да как вы начнете отказываться, вот тогда ты, может, оценишь свою прапорщичью шинель против полковничьей. А формировать начнут со дня на день. Прапорщик-то, может, у Паши с Яшей еще как-то от Елисейских полей отвертится, а уж полковник-то – охочий, как говорится, Паша до вашего брата полковников, шибко охочий. Да и Яша не лучше. Так что утром напомни мне про браунинг. Я тебе оставлю.

– Чтобы застрелиться? – хмыкнул я.

– Там увидишь. А браунинг не помешает! – в каком-то снисхождении или, вернее, превосходстве надо мной сказал Миша и вдруг сменил разговор. – А хороша твоя жиличка. Займусь я ею! – и уснул.

– Займись! – с ревностью сказал я, а мне уже плыла Элспет, и мифический пароход из Индии готовил пары на Англию.

Мечтать, однако, долго не пришлось. Взвинченный коньяком организм потребовал действий. Мне плеснулась моя Персия. Я почувствовал, что мне не хватает ее тягот. Они выходили против всего нынешнего счастья. Разделить этого счастья мне было не с кем. Здесь его разделить мог бы, наверно, только Саша. Я пошел к Ивану Филипповичу. Он на коленях молился.

– Иван Филиппович! – позвал я. Он замер. – Иван Филиппович! – еще позвал я.

Он, кряхтя, поднялся с колен, насупленно зыркнул на меня.

– А эта, жиличка-то, Анна-то, она как тебе будет, зазноба сердечная или просто так? – спросил он.

– Просто жалко ее! – сказал я.

– Жалко, так век она у нас жить будет или только полвека? – в недовольстве спросил он.

– Ну, поживет. А потом куда-нибудь устроим ее в службу. Миша вон поможет устроить! – сказал я.

– Ты, Борис Алексеевич, вот что! – посуровел он. – Ты это. Это их совето – власть разве что до весны, до тепла. Не дольше. Так ты уж не избалуйся. Придет старая власть, и найдешь себе благородную, из семейства.

– Да будет тебе, Иван Филиппович! – в чувстве сказал я и от чувства вдруг, не зная как, выпалил: – Иван Филиппович! – выпалил я. – А я ведь на войне Сашу встретил!

Я намеренно сказал не «на фронте», как то вошло в обиход, а сказал «на войне», тем как бы приближая себя к Ивану Филипповичу и сглаживая свою вину за то, что не сказал о Саше раньше.

– Так не отпускал бы от себя! Чиним-то ты, поди, повыше, был! Взял бы его к себе! – вопреки моему ожиданию спокойно сказал Иван Филиппович.

– Его... – сказал я и замолчал.

Иван Филиппович, как в ожидании удара, замер.

– Он... – сказал я.

И пока Иван Филиппович сказал свое какое-то утробное, какое-то звериное «Ну!», я увидел, сколько мы все любили Сашу. Иван Филиппович, вдруг сжавшись, будто уже получил удар, весь вдруг очертился, будто вырезался из тьмы каморки. Я увидел, сколько он стар, сколько ему в его старости не надо моих слов.

– Ну! – прорычал он.

– Убили в голову. Он пошел спасать своих охотников. В перестрелке его убили! В голову! – сказал я не слово «погиб» и не слово «разведчики», как то уже прижилось, а говоря не военное слово «убили» и старое слово «охотники».

Через долгое молчание, в которое я успел много раз покаяться в том, что сказал, он спросил, когда. Он спросил одним словом. Я сказал. Он в себе что-то сосчитал, сел на постель, вдруг потрогал себя, начиная с колен, обмахнулся крестом.

– Не говори больше никому! – сказал он.

– Не скажу! – как в детстве, тотчас согласился я.

– Сколько у тебя орденов? – спросил он.

Я сказал. Я сказал, что у меня орден Святого Георгия и еще три ордена.

– У Саши тоже Святой Егорий! – сказал он.

У Саши не было такого ордена. Но я с радостью сказал, что видел у него такой орден.

– А ведь убьют тебя, Бориска! – сказал он.

Я отчего-то тотчас единой картинкой представил пароход из Индии в Англию.

– Убьют! – сам себе сказал Иван Филиппович и сам себе сказал: – А я бы вам и не служил, если бы вы не были... – он поискал слова. – Если бы вы не были у меня этак!

На его слова я хотел пренебрежительно хмыкнуть, но только подумал, что раньше не убили, то с чего же убьют сейчас.

– Никому, Бориска, ни Маше, ни Иван Михайловичу, никому! – сказал Иван Филиппович.

8

Все эти дни Екатеринбург бурлил различного рода съездами различных солдатских, рабочих, следом крестьянских, следом же еще каких-то экзотических навроде кооператорских, учебных, провизорских, квартальных и прочая, и прочая, и прочая депутатов, на мое мнение, ни черта не понимающих, о чем депутатствуют, о чем бурлят – лишь бы депутатствовать, лишь бы бурлить. В бурлении приняли декрет – теперь в ход пошли не законы, а декреты – приняли декрет об отделении церкви от государства и школы, будто были и государство, и школа. В бурлении походя упразднили городское самоуправление, то есть городскую и земскую управы, объединили Вятскую, Пермскую губернии и часть области Оренбургского казачьего войска в Уральскую область с переносом столицы в Екатеринбург. Не замедлили учредить свои трибуналы и чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией, учредили свои так называемые народные суды с обязательным верховенством там революционных комиссаров, а отнюдь не судей. Кто-то ушлый и тороватый успел подсунуть в это бурление давнюю программу написания без «ять, еры, ижицы», объявив ее революционно новой. Было объявлено о введении с первого февраля европейского летоисчисления, то есть первое февраля объявили тринадцатым. Уфимская губерния названа башкирской автономией с запрещением отпускать продовольствие за пределы автономии. Военнопленные получили право беспрепятственного хождения по городу и участия в собраниях. Одновременно было объявлено об отсутствии в городе муки и выдаче по карточкам галош. В доме Телегина на углу улиц Успенской и Симоновской открыли яичную торговлю, но повсеместно закрыли торговлю керосином. На станции Баженово – это, наверно, сотник Томлин! – разграбили двенадцать вагонов с зерном, шедших в Екатеринбург. Каменский завод прогнал управу и растащил из цейхгауза, по словам Ивана Филипповича, на удивление знающего все городские новости, две тысячи пудов сахара. Грабеж остановила только команда солдат из Екатеринбурга. Подобная же ситуация была в Нижнем Тагиле. И тоже были посланы туда солдаты с матросами. Их, матросов, в Екатеринбурге, верно, так в ожидании схода льда на пруду, скопилось немалое количество.

А само положение Екатеринбурга было таково. Во всем его уезде оказывались только восемь волостей, в которых случился урожай. Из них взято хлеба только едва триста тысяч пудов, отчего возникла надобность ввезти в уезд более трех миллионов. Но Уфа показывала кукиш. Из Сибири по расстройству железной дороги, которая двигала поезда со скоростью не более двухсот верст в сутки, и по ушкуйничкам, вроде баженовских, поступало едва пара вагонов. Шадринский, Камышловский и Ирбитский уезды уперлись, что по твердым советским ценам хлеба продавать не будут. Привезли клюквы и брусники по двадцать два рубля и варенья паточного по восемьдесят рублей за пуд – ну, хоть этим обеспечили сладкую жизнь.

Все это бурление представляло мне мало интереса. Оно было уже как бы узаконенным, по-нынешнему, удекреченным, творилось по всей России и становилось нормой жизни. А вот разделение казачьего войска задело и меня.

– Миша, а они подумали о том, как отрезанные от войска казаки жить будут? – спросил я.

– А потому и отрезали, чтобы разделить и властвовать. Учил тебя твой Лешник, учил, а ты, кроме как ветры пускать против ветра, ничему не научился. Древнеримский принцип: разделяй и властвуй! – хмыкнул Миша.

Я пропустил его ёрничество по поводу уже рассказанного случая на уроке латыни.

– Ну, разделяй. А как они жить будут? Их войсковое начальство на службу призовет, а они поедут спрашиваться в Екатеринбург. Так, что ли? – спросил я.

– Боря, забудь ты все свое старое! Нет больше старого! Нет тебе казаков! Не читал, что ли, декрет об уничтожении сословий? Все сословия – к одной хорошей матери под юбку, в том числе и твое столбовое, в том числе и их казачье! О том, что ты не офицер, а некое создание

в виде военнослужащего, усвой как можно скорей для твоей же пользы! Не офицер ты, а кто-то вроде вот этой! – Миша вывернул свой характерный кукиш.

– Уже усвоил! – рассердился я.

– Вот и твои казаки, и все мы есмь этот же кукиш! До поры до времени прими это как данное! – в удовлетворении от образности сказал Миша.

– Уже принял! – снова сердито сказал я.

А в парке вдруг был объявлен приказ совета о неприсутственном дне в среду тридцать первого января. В этот день в Екатеринбург прибывал поезд с погибшими под Оренбургом. Их было решено торжественно похоронить на Кафедральной площади.

– Неприсутственный – это там для всякой шушеры типа торговли! Торговать запрещено! Ходить в школы и всякие там учреждения ходить в этот день будет запрещено! А нам служить советской власти никто не запретит! – сказал после приказа председатель комитета Чернавских. – Нам в этот день общее построение в одиннадцать часов дня на Арсеньевском проспекте в составе гарнизона. Командовать построением личного состава парка будет военнослужащий Раздорский!

– А почему не бывший прапорщик Норин? Он как бывший прапорщик всю шагистику должен знать превосходно! – огрызнулся Раздорский.

Чернавских, стараясь значительно, поглядел в сторону Раздорского, видно, хотел сказать что-то такое же значительное, как и взгляд, но не сказал, а заглянул в приказ и сказал, что военнослужащий Норин направляется в распоряжение коменданта гарнизона, утвердительно кивнул в мою сторону, потом оглядел всех и прибавил, что парк должен выйти при оружии.

– Это как же, когда вышел приказ всем сдать оружие! – снова и с издевкой спросил Раздорский.

– А так! Военнослужащий Раздорский, если он на самом деле сдал оружие, а не прячет его в сарайке с дровами, то он будет при деревянной сабле, которую до завтра успеет выстругать. А весь личный состав получит у заведующего хозяйством положенное уставное оружие, то есть винтовки с примкнутыми штыками! – повысил голос Чернавских. – Или, может, военнослужащего Раздорского тоже отправить к гарнизонному начальству, но только уже с моим приказом, как контру? Как выберете, ваше бывшее благородие? К Хохрякову еще не ходили?

После полудня я пошел в военный отдел. Миша меня огорошил.

– Вот, почитай! – протянул он телеграмму.

И я, как год назад в Месопотамии, читал телеграмму об отречении государя императора, дважды прочел ее, с первого раза ничего не понимая. Телеграмма гласила следующее: «Петроград. Срочная. 29.01.18. 16 часов. Именем СНК правительство Российской федеративной республики настоящим доводит до сведения правительств и народов, воюющих с нами, союзных и нейтральных стран, что, отказываясь от подписания аннексионистского договора, Россия объявляет со своей стороны состояние войны с Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией прекращенным. Российским войскам отдан приказ о полной демобилизации по всем линиям фронта. Председатель мирной делегации нарком Троцкий, члены Бищенко, Карелин, Иоффе, Покровский. Председатель Всеукраинского ЦИК Медведев, нарком по военным делам Украинской республики Шахрай. Секретарь делегации Карахан. Брест-Литовск. 10 февраля (нов. ст.) 1918 года». Именно дата заставила меня читать во второй раз, ибо пять букв и две точки в скобках, обозначающих слова «новый стиль», я с первого раза не принял и хотел было сказать про телеграмму, как про фальшивое письмо, а потом только усмехнулся в том смысле, что нами, Россией, война давно уже закончена и «российские войска» давно уже разбежались, в чем можно натвердо убедиться хотя бы по причине моего пребывания не на фронте, а здесь, в грязной писарской комнате военного отдела самозванного совета оглохшего от бурления городишки в середине слепоглухонемой и немощной России.

– Ну, что? – в возбуждении спросил Миша. – Что? Дождались? Да сейчас эти все, – он пальцем потыкал в телеграмму, – эти Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария по всем линиям фронта перейдут эти линии и оттяпают пол-России вместе с их Петроградом! Кто думать-то намерен? А?

Я лишь подумал об атамане Дутове Александре Ильиче, и подумал без ставшего обрета́ть привычку парохода из Индии в Англию.

С этим же обращением – кто думать будет! – Миша с шустовским коньяком притащился вечером ко мне.

Полагая, что он пришел по общей нашей договоренности, Иван Филиппович набычился.

– Вам что это запогумесило? Вы что же это за охотку взяли? Или новыми господами себя започувствовали? Отечество прокукукали, так теперь и стыд прокукукать взялись! Вы во храм-от Божий, вот ты, Борис, пришел домой, а в храм-от Божий захаживал ли? Лоб-то перед Заступницей своей ко полу приложил ли? – начал он нас стыдить.

Анна Ивановна, с удовольствием мывшая после вечернего чая посуду и встретившая меня светлой застенчивой улыбкой, поспешила уйти к себе.

– Здравствуйте, барышня! – крикнул ей в спину Миша.

Анна Ивановна, не оглядываясь, кивнула.

– Во-во! Честны-то девушки вас, оллояров несметных и антихристов, бояться стали! – не преминул воспользоваться случаем Иван Филиппович.

– Иван Филиппович! Да сам-то ты антихриста видел? А я видел! – сказал Миша.

– С вас сбудется! – стал креститься Иван Филиппович. – Он-то вас поперед ущупал, так с вас сбудется! А вот я кочергой-то как погоню его по вашим спинам, айда как заповыгибывается! Охотку взяли вином бельма заливать! Стыдно смотреть на то, что натворили, так вином заливаются! Это он-от вас и подучивает! А вам и радёхонько пуше того! – сухо сплюнул Иван Филиппович.

Приход Миши с коньяком мне тоже не особо был к сердцу. Без какого-либо успеха я попытался успокоить старика и унес самовар к себе в комнату. Мне очень хотелось пригласить Анну Ивановну, однако я помнил вчерашнее обещание Миши ухаживать за ней. Да и, более показалось мне, она бы приглашения не приняла. «Вот, испортил всем вечер!» – подумал я о Мише.

– Где, какого антихриста ты видел? – просто для завязки разговора спросил я.

– Да сколько угодно их перед войной расплодилось. Я тебе вчера говорил! – сказал Миша.

И через четверть часа, подхмелев, он вернулся к вчерашнему разговору. Я пил с неохотой и, опять, как ни странно, после моих мытарств не пьянел. Я слушал новости от Миши, а сам думал об Анне Ивановне. Я думал, как бы хорошо нам сиделось в каморке Ивана Филипповича до самого позднего вечера, как бы я любовался ею и тем смущал, ловил бы ее смущение и ждал ее невольного мимолетного взгляда на меня, взгляда мимолетного, трепетного, как вздрагивание пламени в лампе, но взгляда несущего мне очень большое и хорошее, глубокое, заставляющее сладко чувствовать сбой в сердечном ритме. Я думал, ведь она знает про Элспет. И сам тотчас думал – так что ж, что знает. Как-то все переворачивалось в мире. Он становился сиюминутным, без последующей минуты, даже без надежды на последующую минуту. Сиюминутность убивала прежние нравственные порядки, вернее, убивала саму совесть, по Катехизису, категорию более высокую, чем нравственность, категорию абсолютную. И совесть умирала, впадала в новую нравственность, нашептывающую, что в сию минуту, без надежды на следующую, просто хорошая женщина вполне могла заменить любимую женщину, в моем случае – Анна Ивановна могла заменить Элспет. Как и все вокруг, думать так было абсурдно, в соответствии с декадентством, было до корчи чужим, холодным, как дыхание склепа, но и до невероятности тянущим к себе. И мне было радостно за свою совесть, дающую мне просто любоваться Анной Ивановной, ее смущением и, возможно, крохотным чувством ко мне.

Любоваться – не более. Но было еще что-то такое во мне, что говорило мне – Анна Ивановна соединила и Элспет, и Ражиту, то есть мою жену и мое дитя. Я их спасти не смог. А Анну Ивановну я спас. И она их вобрала в себя. Я так думал. И я стал, пусть только в воображении, чувствовать себя в моем доме, в моей семье. Меня колотил стыд за то, что я предавал Элспет и предавал Ражиту, оправдывая себя таким курбетом. Уж верно, что я не умел любить. Стыд колотил. Но все равно что-то более сильное заслоняли уколы стыда. И кто-то говорил, что с Элспет я никогда не буду. Никогда я не буду в синих тенях двора Иззет-аги, никогда я не буду в солнечном гранатовом саду в предместье Багдада. И счастья слышать Элспет, ее счастья говорить мне по-русски «Вот мы здесь!» никогда не будет. Бог давал мне счастья служить. Но, отлученный от государства, и этого он теперь мне не мог дать. Оставалась маленькая радость любоваться смущением Анны Ивановны. С этим любованием, с воображаемым мной крохотным чувством Анны Ивановны ко мне исчезало все, что было вне этого. Я слушал Мишу, а представлял себя с Анной Ивановной и Иваном Филипповичем за чаем в его каморке.

– Ты слышал об антропософии Штейнера? – спросил Миша.

Я, нехотя отрываясь от своей маленькой воображаемой радости, пожал плечами.

– И ты вчера про меня думал, как про идиота, когда я этих Блоко-Кузминых и Зинок вспоминал! В конечном счете, я достаточно имею на это оснований. Нюхнул я их падали. Смердели они и теперь где-то смердят. Он кто, Штейнер? А никто! А просто возомнивший о себе обычный немецкий колбасник. Он объявил себя богом, накукарекал какую-то теорию, якобы может привести к первоначальному христианству и показать путь в вечность и бесконечность. Они все поверили и заблеяли ему осанну. Он им – какие-то танцы, якобы открывающие другие миры. Они ему – слюни умиления. И я тоже заскакал. Я и за блаженнейшим Николаем Федоровым скакал. Он вообще изобретал бессмертие, только по-русски изобретал, иррационально. Он всех воскресить хотел. А тот, немчура, решил танцульками обойтись. Мы, говорит, приводим в движение само человеческое тело, прежде всего конечности. Именно они продолжают жизнь в следующей земной жизни. То бишь они и конечности, они и бесконечности или без конечности! Как, кстати, по-немецки конечности и бесконечности?

Русская игра слов в конечности, без конечности и бесконечности для немецкого языка была абсолютно неприменима. И что уж, по словам Миши, говорил некий мистик или шарлатан, некий псевдопророк про конечности и бесконечности или без конечности, русского мистицизма в его немецких словах никак не выходило. Мне не хотелось поддерживать разговор. Я промолчал. Он спросил меня снова. Я махнул рукой, мол, никак.

– Так как, господин хороший? – спросил он в третий раз.

Я нехотя объяснил и сказал, что танцами или чем-то подобным ищут единения с богом наши хлысты. Миша даже пригнулся от моего объяснения.

– Ох, Борька! – как-то затаенно, будто успевая решить что-то в себе самом, сказал он. – А ведь я догадывался, что только у нас, русских, конечности выходили бесконечностями! Только русские дураки могли сами себя дурачить и получать от этого наслаждение не хуже твоих хлыстов! Это ведь как коровы. Они слышат хозяйку, а слова ее принимают за мычание. Смысла они не понимают. Так и мы, русские – слышим немецкое... как ты сказал: у них конечности и бесконечности?... Слышат они немецкий бред, а переводят его себе по-своему и бьются от своего понимания! Напиться хочется от такого, Борька! Ведь не немец и не еврей Ульянов в plombированном вагоне привез нам революцию. Мы сами ее... она сама из нас поносом вышла, из нас самих, потому что все тамошнее мы себе переводили на свой лад. Он талдычит то, что ему в башку взбредет. Потому что он знает, что никто из тамошних за ним не потащится. А не потащится, потому что ему там колбасу надо делать. Кто не умеет ее делать, тот и несет всякий бред. И у них там всем хорошо, все при деле. А мы хватаем этот бред и переводим так, что тут же в свой перевод верим. Вот она тебе и революция! Когда такое поймешь, то моей русской душе так заколдобит, что надраться, как мастеровому, захочется! Ну, нашкрывали они

там свой Манифест: призрак бродит по Европе! – и знают, что, во-первых, никакого призрака не бродит, а, во-вторых, если и бродит, так пусть себе бродит, они под него себе заделье нашли, всякие интернационалы придумали и тем кормятся. А как только этот Манифест к русскому на стол попал, так русский его не вилочкой откусывать, не по кусочку, не по зернышку, как курочка клюет и тем сыта бывает, а русский тут же хватить его целиком в свою пасть. И пошло-поехало. И пошли «Земля и воля». И пошли «Черный передел». И пошли Плехановы-Ульяновы, Аксельроды-Кропоткины, Троцкие-Заруцкие! Или Заруцкие – это из польской смуты? Ну, да того же поля ягода! И всем этим, включая Заруцкого, надо непременно русскую империю свалить! Всем надо свою, неизвестно какую, власть поставить!

– Так и что, ты тоже с этим Штайнером менуэты выплясывал? – едва сдерживая зевоту, спросил я.

– А как не выплясывать! Я и кокаин в ноздри толкал. А как не толкать, – снова пригнулся Миша. – Как не выплясывать и не толкать, если это же делает Марго Сабашникова, эта красавица бурятка, художница, танцовщица, литераторка, мистик и еще семьдесят семь разного ее разврата, а я в нее по самые свои уши втюрился! Как гимназистик втюрился! А как не гимназистик, когда мы с тобой еще только гимназию заканчивали, а она уже сочеталась браком с этим своим Максом Волошиным, с этим эстетом, который на римский манер в простыне и без штанов ходит! А что делать? Это ты счастливый человек! А я... – Миша хватил коньяку прямо из горлышка, не морщась, заскрипел зубами, да так заскрипел, будто ломал их, и смолк, верно, уйдя в себя, в воспоминание, а потом в задумьи, холодно и протяжно, из самого своего нутра вытягивая, сказал: – Как же я завидую тебе, Борька! – тяжело помолчал и снова сказал: – Как же я тебе завидую! И как я тебя ненавижу! Черно завидую и черно ненавижу! Самой черной завистью завидую и самой черной ненавистью ненавижу! С каким бы наслаждением я сдал тебя Паше Хохрякову или Яше Юродскому! – он так и сказал: «Юродскому» – и не поправился.

– Миша! – сказал я, принимая его слова, конечно, за пьяный бред. – Давай спать будем. А то Иван Филиппович за керосин нас кочергой по хребту! Нет ведь в городе керосина!

А Миша не слышал меня.

– Забегал-заскакал я перед Маргушей. Она – к этому неудачному колбаснику Штайнеру. И я за ней. Она ему храм строить. И я с ней. Да в немецком я – ни дум-дум. Как ни слеп был от своей страсти, а быстро расчухал, что мне с моими языковыми конечностями не постичь их бесконечности! А как я ее боготворил! И как я ее боялся! Я вообще всю жизнь с детства женщин боялся. Да ведь и ты, Борька, тоже их стороной обходил. Откуда теперь у тебя они – косяком? Откуда они к тебе, как к магнито, летят? Почему ко мне-то не летят? Даже эта твоя жиличка. Вчера с вами сидела-жеманилась, а как меня завидела, так губу поджала и ускакала к себе.

– Миша, давай спать! – вспыхнул я при упоминании Анны Ивановны.

– А она тебя ждет. Пойдешь к ней. Я усну, а ты пойдешь к ней! – снова взялся ломать зубы Миша.

– Не мели вздор! Она не жиличка. Я ее привел сам! И прошу об Анне Ивановне говорить в ином тоне! – сказал я, полагая, что этим прекращу разговор.

– Он привел! – зло и артистически меня обличая, захохотал Миша. – Он мне говорит, что он ее привел! О санкта симплицитас, о святая простота ты, Миша! Он хочет тебя в чем-то порядочном убедить! Он хочет тебя убедить, что он человек чести! Нет, господин хороший! Привел, воспользовался, бросил – вот твое кредо, Цезарь ты наш!

– Всё, Миша! Домой! – схватил я его с кресла и повернул к двери.

– Назад! Руки! – в бешенстве закричал Миша.

И я увидел наставленный мне в лицо маленький, так называемый жилетный браунинг.

– Оставь, Миша! – обсыпаясь холодом от сдерживаемого желания ударить, сказал я.

И тут же меня бросила назад, на баррикаду нашей мебели, всё разрывающая, слепящая и обжигающая вспышка. Миг спустя я слепо увидел синее огромное, перекошенное лицо комитетчика Ульянова, застрелившего комитетчика Кодолбенко в виду скал Бехистунга в заснеженный ноябрьский день моего отъезда из Керманшаха.

– Застрелю! Как собаку, застрелю, если еще раз ты прикоснешься ко мне! – прокричал Ульянов.

Дверь нашей гостевой комнаты хлопнула, а следом, через несколько моих судорожных глотков воздуха, хлопнула входная дверь. Со двора Миша еще что-то прокричал. И я увидел Анну Ивановну. И я увидел гербом Российской империи влетающего в комнату Ивана Филипповича.

9

Накаркал Миша мне Пашу.

Впрочем, это случилось несколькими днями позже.

А в ту ночь мы сидели в каморке у Ивана Филипповича, сидели втроем.

– Говорили люди, что он из этих, – сказал Иван Филиппович, – из этих, не то бомбистов, не то этих, не знаю, как и сказать, а я не верил!

Из каких, из эсеров, анархистов, декадентов или еще из кого, по словам Ивана Филипповича, выходил Миша, я не стал гадать. Было совершенно не до этого. Меня донимал вопрос, промахнулся Миша или намеренно выстрелил мимо. Не случись этой революции, не случись мне повидать и на себе испытать всю человеческую гниль и падаль, не случись увидеть, как все превратилось в сволочь, я бы не гадал, я бы не додумался гадать. Я был бы совершенно уверен, что Миша стрелял мимо. Теперь же я слушал взволнованный разговор Ивана Филипповича с Анной Ивановной и гадал. И еще я думал, как же мне завтра придется встретиться с ним, с моим другом Мишей.

А Господь сподобил никак его в этот день не встретить. Я явился к начальнику гарнизона, то есть в военный отдел исполкома совета. Уже на лестнице меня сжало сильным напряжением. И я, пока поднимался, молил только о том, чтобы не напомнили о себе, как уже стало мучительно привычным, рубцы. Адьютант и бывший поручик Крашенинников, зная нашу с Мишей дружбу, приветственно махнул мне рукой.

– А ваш *amis cordiale*, друг сердечный, просил за вас по известной вам причине! – с улыбкой сказал он.

– Простите, не понимаю вас! – остановился я.

– Да я отпускаю вас домой или к нему, куда вам будет угодно. Вы сегодня свободны от службы, так сказать, для вас сегодня неприсутственный день! – сказал он и со значением понизил голос. – Сам он решительно в разобранном состоянии. Но за вас похлопотал. Я вам сейчас увольнение подпишу!

Как решительно Миша оказался в разобранном состоянии, так же решительно я отказался от предложения Крашенинникова, хотя вздрогнула мне перспектива побыть весь день дома. Крашенинников взялся меня уговаривать. Я взялся отказываться. Нашу дуэль прервал начальник гарнизона Селянин. Он вошел с лестницы, протаскивая за собой клуб стужи. Я представился ему.

– В мое распоряжение? Ну, так это – начальником патруля на Арсеньевский проспект, а потом замыкать всю эту панихиду! У вас будут два солдата, тьфу, военнослужащих сто двадцать шестого запасного полка! Кстати, вы сами в каком полку служили? – сказал он.

– В войну – Девятый сибирский казачий полк, корпус генерала Баратова в Персии! – привычно солгал я насчет моей казачьей принадлежности.

– Не знаю такого! – признался Селянин и повторил мне сегодняшнюю задачу.

Крашенинников хотел ему возразить, но я замахал рукой. Он в сожалении пожал плечами. «Вот, как славно!» – сказал я себе, хотя славного было в том не весть сколько, и пошел получать оружие. В оружейной комнате заведующий, в гимнастерке без пояса и шапки мужик, по виду, мой ровесник, достал из-под стола пашку в затрапезных ножнах и некую черную с зеленоватым отливом бесформенную кожаную сумку, отдаленно смахивающую на кобуру. Я не утерпел спросить, что это.

– Что? – тоже спросил заведующий.

– Вот это что? – показал я на сумку.

– Это-то? – посмотрел на меня заведующий и, полагая, что я никогда не видел оружия, развеселился: – Это пистолет! Эх ты, дядя с племянницей!

– Разве? – перехватил я его веселость, открыл сумку и вынул оттуда подлинного монстра, то есть, конечно, пистолет, но пистолет, в котором я сразу узнал пистолет образца, кажется, тысяча девятисотого года австрийской фирмы братьев Биттнеров – некое ужасное их творение, представляющее собой нечто среднее между револьвером, садовыми ножницами и мелким динозавром, кроме этого, еще отличающееся сложной системой работы.

Я сунул пистолет обратно в сумку и подвинул ее заведующему.

– Что так, дядя? – спросил заведующий.

– Нет, товарищ! Я лучше пойду с одним тесаком! – взял я шашку.

– А ты уросливый! Уважаю! – не теряя веселости, хмыкнул заведующий и пошел отпирать оббитый жестью шкаф. – Тогда вот этот! – подал он пистолет австрийской же фирмы Штайера.

Пистолет Штайера, или Repetierpistole M12, с магазином в восемь патронов, заряжающийся сверху, был красив какой-то особенной красотой обточенной плоской серой морской гальки. Я подержал его в руке, погладил, ощущая обточенность и обтекаемость форм. Чем-то он навевал картины австрийского художника Климта с его текучими плоскостями объемов. Вспоминая академический урок, я отвел затвор, опустил рычажок задержки патронов и тем открыл магазин, оказавшийся пустым. Потом, отделив ствол от рамки, я посмотрел его на просвет. Застаревший пороховой нагар поведал мне о некогда бурной жизни пистолета и вероятной гибели его владельца. Заведующий с интересом наблюдал за мной. Я молча показал ему нагар.

– Патроны? – сделал он вид, что не понял меня.

– Да нет, товарищ военнослужащий! В такие сталактиты патрон молотком не вгонишь! – сказал я.

– А кто стрелял, тот пусть и чистит! – сказал заведующий.

– А кто стрелял? – спросил я.

– При мне никто! Я и не давал его никому. Все вот этой клюшкой обходились! – показал он биттнеровского монстра в сумке и вдруг предложил: – Ты, дядя, я вижу, толк понимаешь! Ты возьми его да почисти сам! Вот польза будет!

– А отдай его мне совсем! – неожиданно и весело сказал я.

– А бери! Если так понимаешь, не жалко! А здесь все равно никто ничего не понимает! – тоже весело сказал заведующий.

Я, не понимая, ни себя, ни заведующего, глядя ему прямо в глаза и улыбаясь, медленно собрал пистолет и медленно положил его в карман, подождал, решил, что он меня не разыгрывает, застыдился своей выходки и медленно положил пистолет на стол. Заведующий проследил за моими движениями, помолчал, явно справляясь с горлом.

– А я так тыкался с ним, и так тыкался, и этак. А у тебя ловко получилось! – скрипуче сказал он.

Я кивнул, взял сумку с монстром, шашку, расписался в журнале и пошел.

– Так что, почистишь? – спросил заведующий.

– Непременно! – кивнул я.

– Ловко у тебя! – сказал он.

«Ловко!» – подумал я обо всем враз.

Я дождался солдат, то есть военнослужащих сто двадцать шестого запасного полка, и мы пошли на вокзал, на площадь перед старым, прянично-теремочным его зданием, оказавшимся клубом красной дружины ближнего участка. Новый вокзал, кажется, еще не достроенный, но уже работающий, гляделся каким-то безлико-сумрачным, будто обидевшимся.

Стало светать, и стали прибывать, так сказать, войска гарнизона, местные красногвардейские команды вперемишку с толпами демонстрантов. К началу церемонии и прибытию коман-

дующего церемонией прапорщика Браницкого площадь и весь проспект были напрочь запружены.

О сем событии через несколько дней я прочитал в газете известий советов. Газетное описание я и помещу сюда, как бывало я помещал в прежнее повествование некоторые документы, присылаемые мне в Персию моим однокашником Жоржем Хуциевым, так сказать, для истории. Тем более, что я мог наблюдать только начало церемонии, вынос гробов из вокзала, а потом, следуя в самом хвосте процессии, даже позади двух грузовых автомобилей с пулеметами в кузовах, с Вознесенской горки увидел, что весь Вознесенский проспект занят этой процессией, и, говорили, что голова ее прошла Каменный мост на Покровском. И потом, когда начался на Кафедральной площади митинг, масса демонстрантов толкалась на Уктусской улице, пулеметы смотрели на нее, а мы продолжали, согласно определенной нам задаче, быть позади всех, всё еще на Покровском. Таким образом, я мало что видел. Но все-таки я позволю себе не воздерживаться от своего мнения.

Прежде всего, меня смутило то обстоятельство, что церемония была объявлена довольно поздно по отношению к концу самих оренбургских событий. Мы с сотником Томлиным прибыли в Оренбург, уже покинутый Александром Ильичом Дутовым. Революция ликовала. Ее ликование, слава богу, миновало нас. Опять помогла моя, как выразился сотник Томлин, справочка. До револьвера к виску было стыдно пользоваться ею, но иного выхода у нас не было. Так сказать, шлепнуть нас могли и по приговору революции и без ее приговора, так как кроме нее самой, то есть кроме ее вершителей, этой сволочи, спрятавшейся за революционными штывками, город был отдан на поругание. В нем правил тот, кто хотел. Вся уголовня, весь уголовный элемент повыполз и пустился в пляс, пустился грабить, убивать, насиловать. Ну, так вот, в ожидании разрешения выезда мы провели в городе несколько дней. И здесь, в Екатеринбурге, я пребывал уже десятый день. Участник боев, наш жилец Кацнельсон вернулся еще раньше меня и успел даже потребовать себе сапоги взамен тех, что остались в хате при спешном ее оставлении. А этих погибших привезли только что. При том их оказалось всего четверо. По-христиански – так лучше бы вообще не было ни одного. Но четверо погибших никак не вписывались в то напряжение, каким отличались бои за город. На основании, так сказать, изложенного, я беру смелость заметить, что похороны этих несчастных стали революционным спектаклем, а сами они, несчастные жертвы, оказались первыми попавшимися или, наоборот, последними не захороненными на месте боев.

И позволю себе еще одно характерное сообщение. Когда мы проходили мимо женской гимназии, в толпе наблюдающих процессию с крыльца гимназии я увидел нашего учителя истории и географии Василия Ивановича Будрина. Он тоже увидел меня, обрадованно выбежал ко мне, обнял, уже старенький и, по революционному времени, стершийся, растерянный в нынешнем старании быть без лица. Много говорить с ним я не мог. Мы условились, что я приду к нему на дом. Я спросил, не перешел ли он преподавать в женскую гимназию. Он поведал мне, что оказался здесь по случаю. Случай же был таким, что гимназистки приказ совета о неприступном дне сочли за не подлежащее исполнению.

– Вы только подумайте! – зашептал он. – Они вчера собрали общее собрание и выступили против отмены занятий, заявив, что казаки в Оренбурге сражались за Родину, а эти поехали их убивать и свое получили! Никакие увещания педагогов на них не действовали! Во избежание худшего, педагоги решили занятия не проводить, но на службу выйти. Вот теперь мы смотрим с крыльца, не смея покинуть гимназию. А они, – он махнул по окнам здания. – а они так никто к окнам не подходит. Вон поглядите! Они игнорируют!

Я кивнул, сам не зная, то ли я поддержал гимназисток, то ли просто принял слова моего учителя к сведению. Мне надлежало быть патрулем. Мне надлежало тащиться позадь всей процессии, позадь всего этого спектакля. А впереди меня громыхали два грузовика с пулеметами в кузовах. И я думал, а ведь они, то есть власть, очень серьезно взялись за дело. При госу-

даре императоре грузовиков бы не было. И я сам тоже не догадался бы в спектакль вставить грузовики с пулеметами.

Одним словом, я иззябший и голодный вернулся домой.

А, нет, я забыл в ощущении своего того ничтожества, которое я терпел, следуя за двумя грузовиками с пулеметами, я забыл, что я собрался поместить текст газеты известий. А он, текст, был написан так. Ими это было названо светлыми похоронами. И вот он, документ.

«Светлые похороны.

От подъезда вокзала к Арсеньевскому проспекту протянулись шпалеры революционных войск с оружием: справа – местный гарнизон, слева – красногвардейцы всех районов с винтовками к ноге. (Прошу прощения за стиль документа, за мое вмешательство в текст. Но читать ложь о том, что войска революционные – это уж ладно, это уж примета времени. А отношение слов „винтовками к ноге“ только к красногвардейцам – это неточность. Все были „винтовками к ноге“.) В общий строй войск вливается отряд оренбуржцев. Видны коренастые фигуры матросов с „Гангута“. (Они, правда, были видны, хотя их была горстка.) В проходы между рядами войск строятся со знаменами демократические организации, рабочие союзы, делегации съездов партий. Всюду реют красные и многочисленные на этот раз черные знамена. Перед входом в вокзал – транспарант – „Вечная память павшим борцам!“ Та же надпись на многих знаменах. „Горе и проклятье убийцам!“, „Вы жертвою пали...“ (Еще раз вмешаюсь: гимназистки были правы – убийцами были не казаки Александра Ильича Дутова, убийцами были именно те, кого нам в Екатеринбург привезли. И далее по тексту.) „Да здравствует царство рабочего класса!“. „Единая власть советов!“ Анархисты: „Долой власть и капитал. Да здравствует анархизм!“ Милиция: „Вперед на защиту граждан!“»

Вынос гробов в 12 часов.

Одна за другой перестраиваются шеренги войск и красногвардейцев и с винтовками на плечах вступают в процессию. (Это надо было видеть, их перестроения «С винтовками на плечах». Хотя мне от крыльца вокзала и не было видно, но часть сумятицы их перестроения я все-таки видел. Печальное зрелище. Я даже подумал, а, черт, возьми, не возьмись ли мне их поучить, так называемых запасных и так называемых красногвардейцев!) Два оркестра попеременно играют. (Один оркестр был возле крыльца, а другого я не видел, но слышал его). Процессию замыкают два грузовика с пулеметами (Вот это правда, оба тихо гремели впереди нас. Я полагаю, излишне объяснять их задачу в сем спектакле).

Голова колонны у «Лоранжа», а хвост на мосту через Мельковку (Я не видел того, кто бы шел с нами и писал или брал на память, что бы потом написать. Ну, да Бог с ними. Итак: хвост там, а мы еще здесь.) Далее по Покровскому, по Уктусской к площади, к братской могиле около бывшего памятника Александру Второму.

Стрелка равняется двенадцать двадцать. Похоронный марш. В дверях вокзала показывается первый красный гроб – несут на винтовках. (Пусть это враги, но я взял по команде «на краул».) По команде войска берут «на краул». (Я взял ровно через столько секунд или наших вздохов, которые положены уставом. Войска, пока слышали команду, взяли чуть позже.) Знамена склоняются. Шапки – долой... (А далее из другого номера газеты – уже о том, чего я не видел, ибо торчал на перекрестке Покровского и Уктусской, ближе к Каменному мосту и со взглядом в сторону нашего дома, где Иван Филиппович явно в сороковой раз в ожидании меня грел самовар, а Анна Ивановна обо мне думала.)

Далее вот так.

«Пьедестал памятника в черном коленкоре. Фонари по углам памятника обвиты красным ситцем. Могилы между Кафедральным собором и памятником.

В начале третьего часа голова колонны показалась на Уктусской. Впереди черное траурное знамя. За ним красные гробы и лес черных и красных знамен. Смолкают оркестры. Команда на салют. Выстрелы. Пороховой дым поднимается к небу.

И, глядя на величественно приближающуюся процессию, глубоко верилось, что нет той силы, которая победит восставший народ. И жалки, и смешны казались судорожные попытки темных контрреволюционных сил встать поперек его дороги к царству Свободы и Братства. И скорбь похорон сплеталась с чувством радости за будущее освобожденных братьев». Потом были выступления нынешней власти. Голощекин заявил: «Их гробы это величайший символ победы восставшего народа!» Некто Демьянюк пошел во лжи еще дальше. «Мы пойдем против буржуазии, не жалея жизни!» – объявил он. Еще: «Мы построим им, здесь лежащим в гробу, памятник. Но настоящий памятник воздвигнем тогда, когда дойдем до торжества социализма!» Некая дама от лица властвующей партии стала говорить об отсутствии большей любви, нежели отдать жизнь «за други своя» – вероятно, хотела приплести слова Николая Васильевича Гоголя из «Тараса Бульбы». «Мы еще будем пользоваться жизнью, – заявила она, – а они уже отдали ее за нас. Кровь их будет на нас, на наших детях, если мы изменим делу революции!» – Выступала потом некая Юровская, то ли жена, то ли дочь Мойши, или как его там, Янкеля Юровского. Она понесла бред про какие-то знамена, которые якобы не донесли эти несчастные четыре жертвы. Выступил, судя по газете, и Паша Хохряков. Его слов газета не поместила – видимо, такие были слова. А некий с фамилией Украинцев вообще заявил, что там, под Оренбургом, «трудовой народ встречал их хлебом-солью, а разряженные барышни расчищали снег перед ранеными контрреволюционерами». Куда брели сии раненые контрреволюционеры и откуда там взялись разряженные барышни, чтобы расчищать снег перед ними – сей оратор этого не сказал. В общем, несли все то, что в «трудовом народе» называется бредом сивой кобылы.

Я бы не стал связывать себя со всем этим кошунством, если бы не видел в нем какой-то нечеловеческой злобы против вымышленных ими контрреволюционеров, то есть против меня, против моих товарищей, polegших под Сарыкамышем, в Персии – да где угодно – polegших, защищая наше Отечество. Я ругал себя. Я говорил себе, черт-де дернул тебя подчиниться корпусному комитету, по сути, настоящим контрреволюционерам, взявшимся уничтожать Россию, черт-де дернул тебя не уйти к Василию Даниловичу Гамалию в его Георгиевскую сотню, не уйти к партизану Бичерахову, где меня не достал бы никакой комитет. А коли дернул, то и тащись за всей этой комедией с гробами, за всем этим революционным бредом, настолько революционным, что посчиталось победившей революцией держать позади своих сынов два грузовика с пулеметами.

Иззябший и голодный я шел домой. Раньше это, служба, была для меня радостью, она была для меня службой. Раньше я ее любил. А теперь я шел к себе домой и спрашивал себя: Что? За что? Что это? За что мне, подполковнику русской армии? – и я не хотел знать, что нет ее, русской армии, что нет России, а есть только Паши Хохряковы, есть только Мойши, или как их там, Яши-Янкеля Юровские. От их существования, от их службы я не мог уже любить службы, я не мог уже... – а что уже, что я не мог, – было невозможно сказать.

А дома меня встретила своя контрреволюция. Дома жильцы мои Ворзоновские съезжали. Причиной тому стал выстрел Миши.

– В таком щекотном положении, когда война уже пошла по комнатам, мы быть не желаем! Вы вот тут стреляете, вы вот приказы пишите на гонимых вами же простых несчастных обывателей – а вот посмотрите, таки кого надо выселять! – дал мне газету известий Ворзоновский.

Я удержался от вопроса, приготовлен ли донос на какого-то их собрата для Миши. Я взял газету и отдал Ивану Филипповичу.

– Айда, айда с Богом! – молился он по поводу Ворзоновских и настороженно смотрел, не взяли ли они чего-либо из нашего имущества, хотя как они могли что-то взять. Они были обыкновенными, как сказал сам Ворзоновский, обывателями. Если их что и заставило смошенничать, так та же революция, обыкновенная безысходность и обыкновенный инстинкт выжить. Вероятно, это понял и Селянин, отчего заставил их только оплатить расходы и штраф, а не отдал их Паше Хохрякову.

Анна Ивановна была в каморке Ивана Филипповича. Она было кинулась развязать мне мерзлый башлык, но смутилась своего порыва. Я же вспомнил брата Сашу после Маньчжурии – так он являлся домой, а матушка и нянюшка выходили его встречать, развязать башлык, повесить шинель, выходили и ждали, когда он снимет портупею, расстегнется, а он целовал им руки и бывало плакал от стыда за бездарное, по его мнению, возвращение с войны. Я в это время обычно стоял в глубине гостиной комнаты и видел его героем. Если он меня замечал, то говорил кем-то злобным придуманную про них, воевавших в Маньчжурии, фразу. «Что, Бориска? – говорил он. – Проиграли макакам коекаки!» И я был готов того, кто эту фразу придумал, самого отправить в Маньчжурию, самого понести все тяготы войны и не пускать его домой, пока он не вззоет и не придумает что-то подлинно достойное нашей армии.

– Борис Алексеевич! – остановила свой порыв Анна Ивановна. – Вы раздевайтесь и мойте руки! Сейчас мы будем ужинать! У нас чудесный ужин! А там, – она показала в сторону комнат, – там я все приберу! Вы не думайте! Я все умею!

Я не стал ей говорить, что убирать за кем-то я ей не позволю, что убрать там Иван Филиппович позовет кого-нибудь из соседней прислуги. Я только посмотрел на нее чуть дольше, чем того следует при простом взгляде благодарности.

– Что? – обрывисто спросила она.

Я мотнул головой, мол, ничего, а по мне горячей волной прошло воспоминание вчерашнего – того, как мне было стыдно и радостно думать о ней.

За ужином Иван Филиппович показал на краюху хлеба и сказал, что она последняя, что муки снова не выдавали. Я вспомнил про Кацнельсона. У нас были на ужин картофель, селедка, чай со сгущенным молоком. У него, как я увидел, были только кипятки и сухари. Я пошел позвать его. И мы стали ужинать вчетвером, совсем тесно, так тесно, что я невольно задевал то локоть, а то вовсе колено Анны Ивановны и затаенно вспыхивал. И только приходилось предполагать, каково было при этом ей. Ужинать было немного. Но ужинали мы долго. Кацнельсон церемонно молчал. Я спросил его о сапогах, имея в мыслях дать ему что-то из нашей обуви.

– Сапоги, – сказал он, не отрываясь от кусочка селедки. – Я так думаю. Я снова буду проситься на Дутова. Вы, как военный человек, знаете, там могут убить пулей или шашкой. Но там таки сначала обуят, оденут и накормят. А что делает горпродком? Он ничего не делает. Он только ставит справочный стол на самый сквозняк!

– То есть ваше заявление осталось без удовлетворения? – удивился я.

– Его можете прочесть сами. Я вам сейчас его принесу! – сказал Кацнельсон и засадил обе руки в свои кудри, таким образом вытирая их от селедки.

Анна Ивановна запоздало кинулась к нему с салфеткой.

– Что вы, барышня! Этаким салфет следует поместить в рамочку для эстетического развития, а не обтирать об него селедку совсем никому не нужного еврея! – отстранился от салфетки Кацнельсон.

– Ты тут с нами – так это не у вас в совете! Тут шутки не шути, а соблюдай! А то вместо царства социализма напустишь по дому царство вшей, так весь ваш социализм-то того!.. Вошь-то, она!.. – одернул его Иван Филиппович и не удержался выговорить за прошлое: – Без Бориса Алексеевича-то развели тут, что с крыльца начали ходить да валить мимо дыры!

– А мы не тысячи получаем, чтоб мылов-то покупать! – огрызнулся Кацнельсон и, пока Иван Филиппович, пораженный дерзостью, искал сухими губами ответ, успел исправиться: – Мы, сударь, в нашей черте жили так, что все эти чертовские привычки еще долго понесем в социализм! Уж прошу прощения!

– А бедность – не порок! – только и сказал Иван Филиппович.

Кацнельсон ушел. Я спросил Ивана Филипповича, есть ли у нас что из обуви. Бедного старика едва не взяли корчи.

– Да что это, Борис! Может, мне еще его в нашей ванной обмывывать! – зашипел он.

Мне спорить не хотелось. Я решил, что найду обувь сам.

– И дрова, почитай, кончились! – заодно выговорил Иван Филиппович.

Как я уже сказал, прежние прибавки к жалованью на дрова, квартиру, фураж для коня новой властью были отменены. А цены на все росли так, что моя радость от полученного вперед жалованья улетучилась через несколько дней. Денег на дрова у нас не было. И Иван Филиппович это знал. Он посмотрел на меня с победой, будто говорил: «А ведь предупреждал! А вы, барин, то приживалочку приведете, то советского прощелыгу кормить возьметесь!»

– Хорошо, я подумаю! – сказал я о дровах, лукаво надеясь, что Иван Филиппович обо всем позаботится сам.

Пришел Кацнельсон и сказал, что правильно сделали, выселив Ворзоновских, что они, Ворзоновские и их подруга каторжанка Новикова, «имели платформу частного собственного интереса на наш дом». Я его слова пустил мимо. А на его заявлении в горпродком о выдаче сапог стояла, как ныне стали выражаться, резолюция какого-то из начальников с отсылком заявления к другому начальнику. «Он никуда не годится, к делу относится спустя рукава, а ему сапоги. Его надо дисциплинировать, а не сапоги ему!» – написал начальник.

– Я дам тебе во временное пользование какую-нибудь обувь, а то ходить на службу в одних голенищах действительно нельзя! – сказал я, специально, для Ивана Филипповича, указав выдачу обуви во временное пользование. Ясно, что мои маневры не имели успеха. Иван Филиппович сурово поджал губы. Кацнельсон же отчаянно замахал руками.

– Нет, никак нельзя дать мне обуви! Все сразу будут иметь подозрение меня в качестве мошенника! – вскричал он.

– Как знаете! – пожал я плечами, никак не привыкнув к новым правилам подозревать всех и во всем.

После ужина мы не удержались посмотреть на оставленные Ворзоновскими комнаты, то есть кабинет и спальню моих батюшки с матушкой. В описание их состояния пришлось бы вспомнить и поправить место из «Полтавы» Пушкина, где он говорит о Петре Первом. «Вид их был ужасен!» – только и можно было сказать о состоянии комнат.

– Я завтра же все устрою! – сказала Анна Ивановна.

Я запрещающее махнул рукой и повернулся к Ивану Филипповичу:

– Найди, Иван Филиппович, кого-нибудь из соседских!

– А чем платить? – спросил он.

– Тогда – сами! – решил я.

И мы вчетвером, в веселом азарте до позднего вечера вычистили кабинет, спальню, гостиную, вынесли мебель, вычистили комнату Маши, покамест отданную мной Анне Ивановне, и гостевую.

– Ну, вы, ваше высокоблагородие! – снова кричал на меня Иван Филиппович, видно, полагая, что офицер русской армии и столбовой дворянин обязан был быть бездельником и белоручкой. И потом он кричал мне об Анне Ивановне. – А она-то, Анна Ивановна-то! Вот и барышня! – в одобрительном удивлении кричал он, но в какой-то миг спохватился и в назидание выговорил: – Все одно, Борис, совето – до весны. Найдешь себе из семьи. А то опять служить утрясешься. А ее куда?

Остатком дров Иван Филиппович натопил ванную. Вслед за Анной Ивановной помылись и мы, а потом долго пили чай с сухарями Кацнельсона. Пили чай, брали лампу и выходили смотреть на будто новые наши комнаты. Было хорошее в нашем доме, и было хорошее во всех нас. В этом хорошем настроении мы наткнулись на газету известий, оставленную с каким-то пожеланием на что-то посмотреть Ворзоновскими, взялись ее смотреть, отыскивая, что они могли иметь в виду. Высмотрели объявление об открытии в доме номер двенадцать на Пушкинской народного детского сада для детей бедных родителей. Иван Филиппович на это, разумеется, не удержался от сентенции.

– Открывают, народ булгачат, а сами весной сбегут! – проворчал он.

Еще нашли рассуждения некоего Ларина о несправедливости прежних, еще времени сволочи Керенского, налогов. «Мы правим уже два месяца, – рассуждал Ларин, – а все еще действуют несправедливые старые налоги на сахар, чай, хлеб, платье и так далее. Отчасти поэтому в стране такая дороговизна. Например, производство сахара в прошлом, семнадцатом, году обошлось по гривеннику за фунт, и его можно было бы продавать по пятиалтынному. А мы платим семьдесят пять копеек, то есть в пять раз дороже. И существующий подоходный налог несправедлив. А вот если бы за первые сто рублей дохода брать его пять процентов. За вторые сто рублей – десять процентов, а за тысячу и выше – сто процентов, тогда бы капиталист, получающий двадцать тысяч, заплатил бы девятнадцать тысяч четыреста рублей. И ему бы осталось шестисот рублей, как члену правительства, который получает пятисот рублей оклада и сто рублей квартирных. Вот где была бы социалистическая революционная справедливость».

– Это они нам хотели рекомендовать? – спросил я о Ворзоновских.

– Как же, – сказал свое Иван Филиппович. – Шиш вам капиталист что отдаст! Он фабрику спалит, товару на складе спалит, монополюшки нажрется да помрет. А ничего не отдаст.

– Не отдаст. И наша платформа большевиков – все у них взять! – поддержал его Кацнельсон.

Иван Филиппович, в совместной работе было подобревший к нему, посуровел снова.

– У них-то взять. Да вы больше у других, которые Отечеству беспорочно служат, взять норовите, да с крыльца прямо того ладите! – не удержался напомнить Кацнельсону об его этических изъездах Иван Филиппович.

– Что ж. Это ошибки революции. Она не делается в перчатках! – сказал Кацнельсон.

– Может быть, вот что они имели в виду? – показала Анна Ивановна на заголовок «Ведомость № 1 реквизируемых товаров и продуктов».

Мы вперились в эту ведомость. Она перечисляла фамилии горожан, у которых были обнаружены и реквизируемы как спекулятивные кое-какие запасы различного товара. Всего интереса в этой ведомости было, что среди пары десятков горожан значилось пять азиатов – четыре китайца и один кореец. Из общего нашего настроения мы стали читать, что же такое прятали сии несчастные азиаты. Значилось реквизируемым: «У китайца Ца-цун-фа гильз к папиросам 250 штук, смятых гильз 25 штук, папирос третьего сорта 180 штук. У китайца Ван-тун-вана рубах летних 97 штук, кальсон летних 62 штук, носков меховых 246 штук, шапок меховых 190 штук, ватных рубах 62 штук. У китайца Цой-мен-хвана, – которого в китайцы из корейцев зачислили по ошибке или незнанию, – было изъято кальсон теплых 26 штук, молочных консервов 20 банок, горчицы 3 фунта, чаю 5 фунтов, перца 1 фунт, ботинок мужских 60 пар, табаку листового сигарного 23 фунта. У корейца Та-у-ца папирос третьего сорта 325 штук».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.